

ТРИ ОЧЕНЬ РАЗНЫХ ЛЕТА

П о в е с т ь

Прошлое не подлежит возврату, но его можно вспоминать, пока есть кому это делать. Очень часто это лучшее из всех занятий, доступных людям пожилого возраста. Во всяком случае, оно очень ими любимо. И я сейчас с удовольствием этим занимаюсь. В тихие ли ночные часы или вечером перед живым огоньком на даче – я вспоминаю. Погружаюсь в свое прошлое, как в спасительный мир, из которого черпаю свежие силы. Происходит как бы омолаживание чувств и желаний, вместе с их возрождением, и пространство, которое впереди, уже не кажется таким небольшим.

Я вспоминаю, что переход в старшие классы способствовал стремительному расширению мира. Когда я смотрел на звездное небо, я как-то не думал, что мир может быть таким необъятным, а часто и недоступным воображению. Когда в третьем классе я остановил взгляд на заголовках в газете «Правда Востока», я подумал, для чего из имени «САША» убрана первая буква «а» – получалось «США». Саша – это понятно, так звали белобрысого пацана через дорогу, густо покрытого веснушками и очень вспыльчивого. И песня часто звучала по радио: «Саша, ты помнишь наши встречи?» Надрыв был в женском проникновенном голосе, наверное, у Саши было плохо с памятью, и он перестал соответствовать надеждам, которые на него возлагались. А что такое США? Вскоре я узнаю, что такое США. Открывать мир, познавать его было еще интереснее, чем играть в лапту, спускаться на автомобильной камере по Салару, ходить купаться на Тал-арык. И еще очень интересно было издали посмотреть на девушку Людмилу и думать о ней.

Жизнь моей семьи, начиная с 1938 года, протекала в славном городе Ташкенте, в русской его части, близ вокзала и Тезикова базара, где находилась тихая улица Буденного, сплошь застроенная одноэтажными домами. До моей школы было десять минут не быстрой ходьбы. После восьмого класса наш куратор физик Михаил Константинович Прокофьев устроил нам поход в горы продолжительностью в девять дней. Я увидел мир, в котором земная твердь была вздыблена до самого неба, в котором текли быстрые чистые реки, росли березы и закрученные в штопор арчи, залиvisto пели соловьи, а замшелые скалы вздымались почти вертикально и так высоко, что подпирали само небо. Я полюбил горы и ходил в них потом много-много раз, чаще всего в одиночку. Пойти в горы сам на сам, с друзьями или с детьми для меня всегда было великое удовольствие. Но чаще всего я не находил попутчиков и шел в горы один. И прекрасно! Единение с матушкой-природой получалось неразрывное, никем не нарушаемое.

После девятого класса каникулы были совсем другие. Отец подарил нам (мне, сестре Ольге, двоюродному брату Юрию и тете Саше) двухмесячную поездку в Россию. Мы побывали в Москве и Ленинграде, познакомились с тамошней родней – Скобелевыми, Михайловскими, Рисслингами, а потом надолго обосновались в курском селе Теткино на берегу извилистой, тихой и теплой реки Сейм, впадавшей в Десну. Десна, в свою очередь, впадала в Днепр. Родня вскоре тоже пожаловала в Теткино, и нас стало очень много. Из московских впечатлений я выхватил Красную площадь и Кремль, и еще Третьяковскую галерею, из ленинградских – Дворцовую площадь, Зимний дворец, Неву и Невский проспект, из теткинских – реку Сейм, широкую и сонную, избу, в которой мы снимали комнату, неблизкий лес и сельский быт, несуетный, негромкий, заполненный неустанным, но малопродуктивным трудом от восхода солнца и до его заката.

Слушать взрослых, вспоминающих свое прошлое, воссоздающих картины одна увлекательнее другой, было интересно чрезвычайно. Но проанализировать многое из того, о чем они говорили, я смог только в зрелые годы. Для меня, школьника, гражданская война была триумфом дела Ленина и дела красных, а для них, эту войну переживших – страшной бедой, когда надо было спасти свои жизни и свое имущество от белых, от красных и еще от тех, кто мог стать белым или красным, в зависимости от обстоятельств. Для меня коллективизация была очередной выдающейся победой советской власти, а для них – смертным голодом, выкосившим миллионы, а их обошедшим только чудом. Для меня недавно усопший Иосиф Виссарионович Сталин был вождем, отцом и учителем, и еще каменной стеной, надежнее которой не бывает, а один из родственников посмел назвать Сталина извергом и душегубом, и другие ему не возразили, хотя и оглянулись при этом, нет ли вблизи посторонних. Меня, скользнувшего за дверь, они не заметили. Я запомнил, что родни у меня много и что все эти люди любят мою мать и моего отца, - они звали их Леночкой и Петей. И друг друга они любили, конечно – я это вскоре увидел.

Познакомившись с многочисленной родней, я к ней не потянулся – почему? Почему между нами не установились отношения доверительные и близкие? Только ли из-за большого расстояния, нас разделявшего? Из двоюродных сестер я выделил одну Ирину Скобелеву – и останавливался у нее, когда приезжал в Москву. Мне

очень понравился дядя Алоиз, врач, фронтовик, как и мой отец; но он умер, едва я вступил в самостоятельную жизнь. А с остальной родней, в отличие от матери и отца, у меня и у Оли было мало точек соприкосновения, ведь мы виделись так редко. К сожалению, с годами точек соприкосновения больше не становилось.

Третье лето, о котором я поведу речь, придет к нам после окончания школы. Мы простились со школой на выпускном балу, торжественном и грустном. Я получил медаль, но совсем не ликовал по этому поводу. Наверное, некоторая натяжка была у меня с медалью, и я чувствовал это острее, чем следовало. А давние мои друзья Геннадий Козлов и Валентин Хадилов получили просто хорошие аттестаты, и им надо было сдавать экзамены в институт. Но мы пошли работать на маленькую стройку в полудне ходьбы от наших домов. И месяц от души пропахали на этой строительной площадке подсобниками. Мы рыли траншеи под фундаменты, готовили раствор и бетонную смесь, подносили каменщикам кирпич, разгружали материалы и складировали их. За это нам платили 25 рублей в день. Впервые мы зарабатывали, то есть несли в дом, как взрослые люди, и это наполняло нас гордостью. Мы старались. Рукоятки носилок прогибались, когда Гена и Валентин клали на них по пятьдесят кирпичей, и их мускулы взбурялись предельно.

Это была первая в моей жизни настоящая работа. Мужская работа. Не могу сказать, понравилась мне она или нет, да так вопрос и не стоял. Но она давалась мне с обильным потом. Приходя домой, я часто не чувствовал ни рук, ни ног своих. Она же, эта работа, вбила первый клин в нашу неразлучную троицу. Мы поступали вместе в ирригационный институт на гидромелиоративный факультет, но поступил я один, а Гена и Валентин конкурса не выдержали. Шапкозакладательскими оказались их заверения: «Мы поступим, мы все знаем!» Их обоих взяли резервистами, но на другие факультеты, Геннадия на землеустроительный, а Валентина – на факультет механизации сельского хозяйства. Стараниями моего отца Гена вскоре был зачислен в студенты, а Валя потерял год, ему пришлось поступать заново.

С тех пор наши пути-дорожки были уже у каждого свои, и самозабвенность, нежность и искренность постепенно улетучились из наших отношений. А когда мы стали отцами семейств, мы уже не встречались часто. И уже совсем другими были наши встречи, не искрометными, без «Черт поberi!» и: «Спорим, я эту болваночку больше тебя выжму!» Мы быстро выросли, у каждого определился свой путь, и это все дальше отдаляло нас друг от друга. Но мы всегда помнили, как хорошо нам было вместе в далекие школьные годы. Взрослая жизнь, к которой мы так стремились, была уже совсем другая.

ЛЕТО 1953 ГОДА

ГОРЫ, КАКИМИ Я ИХ УВИДЕЛ

1

Я посмотрел в окно, выходящее в тупик, в котором жил Валентин. И вовремя это сделал. Геннадий и Валентин шли ко мне. Гена что-то говорил, обратив к Валентину остроносое лицо и оживленно жестикулируя. Жесты заменяли ему эмоции. «Надо придумать что-нибудь военное», - сказал я себе. До обеда мы уже сплавали на автомобильной камере по Салару. И все было бы в этом плавании хорошо, нас нигде не обстреляли комками глины, но я вдруг обнаружил, что рядом со мной плывет какашка. Я усиленно заработал ручками и ножками и от какашки отдалился, но даже кратковременное соседство с нею было не в пользу повторения заплыва по Салару. В такую воду лучше было не соваться. Вот почему год назад мы облюбовали Тал-арык. Он протекал в часе ходьбы от нас, за городом, за взлетной полосой аэропорта, и был куда чище и приятнее Салара, который взрослые называли вонючей сточной канавой.

Итак, повторный заплыв по Салару исключался. А почему бы нам не сыграть в лапту? Нас трое, мы кликнем клич, и явятся еще трое, вот тебе и лапта. Можно пойти в школу, там кто-нибудь пинает мячик. Но едва ли там нас наберется на большое футбольное поле. А просто пинать мяч неинтересно. «Лапта!» – решаю я. Меня уже зовут. Валентин улыбается не так, как Геннадий. Он улыбается широко и обаятельно, многообещающе, словно готов принести и положить к моим ногам весь белый свет. Но это не значит, что Генкина улыбка беднее. Просто он не умеет улыбаться так обаятельно, как Валентин, не дано ему этого. Его эмоции не так яркие, а вот относительно их глубины я бы не сказал, что они мельче, беднее.

Я выхожу к друзьям. В нашем доме восемь квартир, но наша, угловая, самая большая. Правда, и семья наша самая большая, восемь человек. После войны все живут тесно, ведь Ташкент принял почти полмиллиона эвакуированных и сто четыре завода. На пепелища пожелали вернуться далеко не все эвакуированные. Ребята в трусах, и я в трусах. А что тут такого? Летом мы всегда босиком и в трусах, нам больше ничего не надо. Даже на Комсомольское озеро, через половину города, мы ходим в трусах, и никого это не коробит. Все так ходят, и наши сверстники, и ребята постарше. Но если мы идем вечером в парк, одеваемся, как положено. Рубашку и брюки гладим, туфельки чистим. Парк – это другое дело, это почти как школа. Там положено быть при полном параде.

Гена из нас самый старший, ему в январе исполнилось семнадцать. Мне в августе будет шестнадцать, а Валентину тоже в августе, но на следующий день, исполнится пятнадцать. Мы уже восемь лет учимся в одном классе, но дружим так, что друг без друга не можем обойтись, года три-четыре. Быть вместе нам и приятно, и интересно. Всегда есть, о чем поговорить, что обсудить. Где Гена потерял год, я не знаю. Болел, наверное, или война помешала. Задать ему наводящий вопрос на эту тему я почему-то стеснялся.

Я кивнул друзьям, и Гена спросил: «И куда мы теперь?»

- Лапта, - сказал я. – Нас трое, позову сестру – будет четверо. Начнем двое на двое, а там кто-нибудь присоединится. Главное, сами понимаете, начать.

- Лапта! – повторил Валентин напевно. Слово это было имя девушки, которая вечером обещала пойти с ним в кино и обещание сопровождала сиянием глаз, запавшим в душу. – А что? Берем мячик и битку. Если наша троица не разъединится, мы пощекочим кому-нибудь селезенку!

В Валентине уже прорисовывается спортсмен, он играет в футбол за детскую команду «Локомотив», а осенью хочет пойти в боксерскую секцию, что в клубе железнодорожников, к тренеру Зисману, которого все хвалят. Двое или трое его ребят – чемпионы Узбекистана. Валька среди нас самый проворный, и бегаёт быстрее. Но Гена свою стальную болванку весом 24 килограмма поднимает двенадцать раз, а Валентин только восемь. А в чем я превосхожу друзей? Я лучше них плаваю, и лучше играю в шахматы. И лучше учусь, но в учебе мы не состязаемся – наверное, потому, что здесь все определено на много лет вперед. Как ученики, Валентин и Геннадий примерно равны друг другу. Но Гена больше берет усидчивостью, а Валя быстрее запоминает. Читают они оба, к сожалению, мало.

Я возвращаюсь домой и приглашаю сестру. Оля на два года младше меня, но учится только на класс ниже, она пошла в школу семи лет. Мы идем, и тут из своей квартиры выпархивает Света Букова. Она живет от нас через стенку. Видит битку и мячик в моих руках и загорается: «Возьмете?» – «Возьмем!» – отвечаю я без энтузиазма. Вежливая она девочка, но тремя годами младше. Проворна и неутомима, но уж очень мала, на голову ниже меня. Растет без отца. Ее отец в числе тех, кто заплатил своими жизнями за нашу победу над Германией. И отец Гены Козлова тоже в числе павших смертью храбрых. А отец Валентина, летчик, умер уже после войны, но от болезни, которой его наградила война. Немцы сбили его самолет над Черным морем, близ болгарских берегов, и он провёл в холодной воде двенадцать часов, пока его не подобрал наш катер. Воспаление легких вскоре перешло в гнойный плеврит, и даже пенициллин, это американское фармацевтическое чудо, не помог – отец Валентина угас в нашем военном госпитале. Я один рос при живом отце, еще не сознавая, какое мне, Ольге и матери выпало счастье. Никто из нас еще не задумывался, какой ценой досталась нашей стране победа над гитлеровской Германией; нас радовала сама победа.

Валя и Гена тоже приветствуют Светлану без особого восторга.

- Зайдем за Милой! – предлагает Геннадий. – Все равно играть будем на ее улице.

Это скрытый реверанс в мой адрес. Он и Валентин знают, что Людочка нравится мне. Она моя ровесница, и с ее классом из соседней женской школы у нас были совместные комсомольские собрания. Она была комсоргом в своем классе, я – в своем, и на этих собраниях мы сидели вместе за столом президиума. Какой-то толк, наверное, от этих собраний был, кто-то подтягивался, кто-то, поймав славную девичью улыбку, надеялся на продолжение. Я же стал замечать, что у меня замирает сердце, когда я смотрю на Милу и думаю о ней. Она была, конечно, хороша, то есть очень хороша. К своим шестнадцати годам она превратилась в развитую девушку с фигурой почти безукоризненной. Выглядела на все пять, и я любил смотреть на нее и спереди, и сзади. Небольшой носик, веснушки, как ромашки на летнем лугу, улыбка, обнажающая душу пылкую и ищущую, каштановые волосы, завитые в кудри. Было, было от чего загореться, и было от чего прийти в тихий мальчишеский восторг.

Мы смещаемся на тихую улочку Аральскую, где есть расширенный участок – прекрасное место для мальчишеских игр. Ба, Витенька Артамонов идет нам навстречу собственной персоной, тоже девятиклассник, но из параллельного класса «Б». Остроносый он паренек, худой, нескладный и самолюбивый, в учебе середнячок постоянный, в играх тоже не заводила. Я знаю его хорошо, наши родители давно дружат, а мы почему-то не сблизились, едва контактируем. Что ж, у Виктора достаточно друзей на улице Народной, где он живет. Наши отцы работают вместе в ирригационном институте, а его матушка Елена Афанасьевна какая-то шишка на авиационном заводе, то ли начальник цеха, то ли заведующая каким-то отделом в заводууправлении. Мы предлагаем ему поиграть с нами, и он соглашается.

Я провожу битой черту, отделяющую команду, которая на кону, от команды, которой предстоит маяться в поле. А Геннадий спешит к дому Людмилы и стучит в подслеповатое окошко. Лапта – игра живая, подвижная, и бегать, высунув язык, приходится и тем, кто на кону, и тем, кто в поле. Но играть на кону престижнее, и задача тех, кто в поле, поймать маленький мячик после его посылки в поле, или, подобрав его с земли, попасть им в игрока противоположной стороны, который бежит по полю (дистанция метров двадцать пять – тридцать), чтобы вновь завоевать право подавать мяч, потерянное после удара битой по мячу. Если мяч, посланный в поле, пойман, или если им попали в бегущего игрока соперников, команды меняются местами. А игра, конечно, продолжается. Людмила выходит, довольная, что о ней вспомнили. Она в бриджах и белой майке. И бриджи, и майка

трикотажная прекрасно подчеркивают и обрисовывают все то, что подлежит подчеркиванию и обрисовыванию в девичьей фигуре. Мы приветствуем ее, и она делает нам общий реверанс.

- Делимся так! – объявляет Валентин. – Нас трое, а к девочкам присоединяется Витенька. Трое на четверых - нормально, кто понимает!

- Нормально, если за нас будет играть Гена, а Свету вы заберете к себе, - торгуется Мила. В играх она настоящая забияка и о своей выгоде печется, как будто речь идет о четверке или пятерке за ее ответ учителю.

- Нет, мое предложение более справедливое, - настаивает на своем Валентин. Начинается препирательство, но большинство на его стороне. Мила, естественно, возглавляет команду, в которой девичьи разбавлены Виктором, а нашу команду представляет Гена. Полагается тянуть жребий, кому где играть, но Валентин неожиданно заявляет: «Уступим слабой команде, начнем с поля! Я думаю, когда мы отправим их в поле маяться, торчать там им придется долго!»

- Это мы – слабая команда? – Мила изображает великое изумление. – Сейчас посмотрим! Сейчас мы вам покажем, кто есть кто! Да вы будете маяться не знаю сколько!

- Ура, мы на кону! – радуется Света. Оля просто улыбается, ей все равно, где играть. Очень мило она улыбается.

Один из нас тоже остается на кону, ему уготована роль главного караульщика. Он будет подавать мяч тому, чья очередь бить, и будет стараться подать мяч плохо, неудобно, чтобы удар получился неточный. Мы поручаем это Валентину, как самому проворному из нас. Валентин оглядывает соперников своим снисходительным оком.

- И кто первый? – вопрошает он.

- Чур, я четвертая! – заявляет Мила. Последний из подающих имеет право на три удара битой, а все остальные – на один. Первой бьет Светлана. Мяч летит мимо Гены и мимо меня, и пока я его подбираю, Света успевает добежать до конца поля. Там она, согласно правилам, в полной безопасности. Бьет Оля, мяч отскакивает недалеко, и она не бежит, ждет более сильного удара. Подавая мяч Виктору, Валентин делает ложный замах, но Витенька не покупается на эту утку. Подавая мяч повторно, Валя закручивает его. Витя бьет низом, такой мяч не поймашь. Оля и Витя успевают перебежать поле, а Света, пробежав половину пути, останавливается и пятится назад – я успел подобрать мяч и бросить его Валентину. Он бы не промазал, поразил цель со вкусом, в упор. Мила изготавилась бить, но Валентин делает два ложных замаха, и на один из них девушка реагирует – бита рассекает пустой воздух.

- Так не честно! – кричит Мила, но все в пределах правил. И Валентин торжествует, а Миле советует пожаловаться в Организацию Объединенных Наций, это иногда помогает. Со второго раза Мила по мячу попадает, и он летит высоко и далеко. Красиво она бьет. Красиво и изящно. Все женское обозначается в ее фигуре выпукло-выпукло. Я бегу на мяч – такую «свечку» можно поймать. Но теннисный мячик скользит по кончикам пальцев, ударяется о землю, подскакивает, и только после этого я им овладеваю. И направляю Валентину. Витенька не успевает добежать до кона, тормозит и бежит обратно. Мяч снова возвращается ко мне, а Витя мчит к кону. Я бросаю мяч Гене, он бросает его в Виктора – и промахивается: Виктор делает крутой зигзиг. Что ж, от этого мячика Витя увернулся, от следующего не спрячется.

Оля и Света успевают вернуться на кон. Мила бежит через поле – Валентин с мячом далеко. Круг первый позади, круг второй впереди. «Мобилизовались! – подбадривает нас Гена. – Кому проигрываем?» Света подает хорошо, и Оля тоже подает хорошо. А у Витеньки удар еще покруче. Но удар Милы послабее, ей надо бежать, ведь Светлана вернулась на кон. И она бежит, а я кидаюсь к мячу и завладеваю им. До линии остается метра четыре. Я бросаю мяч в Милу, и она не увертывается. Она лишь поворачивается к мячу спиной, и он смачно ударяет ее по упругой ягодице. «Ой! – кричит она и тянет ладонь к ушибленному месту, которое так хочется почесать. – Я уже за чертой!»

- А вот и нет! – объявляет Гена и показывает точку, где ее настиг мяч.

- Ты почеси ушибленное место, помогает! – предлагает Валентин и смеется. – Попалась, которая кусалась!

Команды меняются местами. Удар у Валентина крутой, за его мячиком Виктор бежит далеко, и Валя неспешно преодолевает поле и возвращается на кон. У Гены удар послабее. Я бью низом, бегу и тоже успеваю вернуться на кон.

- Не команда, а мальчики для битья! – подзуживает соперников Валентин.

- Тогда уж девочки для битья! – поправляет его Оля.

- Ладно, пусть будут девочки, нам все одно, - соглашается Валентин. Мы бьем по мячику и бежим, снова бьем и снова бежим. А Мила, Оля, Светлана и Витенька маются. Пытаются поймать верткий мячик или попасть им в кого-нибудь из нас, но у них пока не получается. И долго не получается, целых полчаса. «Надо поддаться! – предлагает Валентин, куражась. – Мы же сознательные комсомольцы!»

Наконец, Света попадает в Гену. Смотри, пигалица, а какая проворная! Мы маемся минут семь, потом все возвращается на круги своя. Два часа промелькнули, как взмах руки. И Мила первая просит пощады. «Я мокрая,

как цуцик! Спасибо этой честной компании, давайте закругляться! Кто куда, а я хочу успеть в кино. Мне еще платье гладить...»

Мы тоже набегались до легкого звона в голове. Прощаемся с Милой и друг с другом. Я знаю, что пойду вечером в кино. Еще раз посмотрю на Милу. Подойти едва ли смогу, буду смотреть на нее издали. Если рядом будут ребята, тогда другое дело, тогда мы подойдем все вместе.

- Да! – вдруг говорит Витенька и жестом просит минуту внимания. – Совсем забыл! Михаил сказал, что хочет повести нас в горы. На много дней. Желающие пойти в поход должны собраться завтра в школе в десять часов. – Михаил Константинович Прокофьев преподавал у нас физику и был нашим куратором.

- А мне можно? – спросила Оля и подалась вперед.

- Девочек не будет, только ребята.

- Дискриминация! – сказала Оля. Отец часто употреблял это слово, когда ему казалось, что его или чьи-то права грубо нарушены.

- Идут только ребята, и только из нашей школы, – терпеливо объяснял Виктор. И Оля посмотрела на него тоскливо-тоскливо.

11

Желающих пойти в горы набралось не так много. Наша троица изъявила такое желание, и еще из нашего класса Рустам Муратов, Шурик Колокольцев и Юрий Третьяков. А из девятого «Б» – Альберт Аталиев и Виктор Артамонов. «Не густо!» – сказал по этому поводу Михаил Константинович. Рустам жил в нашем дворе, но мы почему-то не дружили. Не сторонились друг друга, но и не стремились быть вместе. Шура жил на улице Сарыкульской, далековато от школы. Он занимался в секции классической борьбы и выступал в весе «мухи» – самом легком. Но его апломб хватило бы если не на слона, то на шмеля – это уж точно. Он мог положить на лопатки парня, много крупнее и сильнее, чем он. А Юра Третьяков жил на улице Першина, вблизи школы, у железнодорожного полотна. Он был духовитый парень с могучей грудной клеткой, на уроках рта не закрывал, отчего его отсаживали на последнюю парту. Он зудел, прикрыв рот ладонью, и при этом преданно смотрел в глаза учителю, и тот никак не мог понять, где же находится источник звука. А Альберт, или Алик, был отличник и великий заводила. У него получалось все, за что он ни брался. Благодаря его неумной энергии класс «Б» был дружнее и спаяннее нашего и чаще одерживал верх и на футбольном поле, и зимой, в снежных баталиях (мы играли в снежки самозабвенно, до посинения рук и до седьмого пота, часто превращая десятиминутную большую перемену в четвертьчасовую). За ним шли, как за командиром.

Михаил стал преподавать нам физику в восьмом классе, и вначале за ним закрепилось нейтральное прозвище Физик. Когда же мы разглядели, что он любит нас, мы стали звать его Михаил, и стали врубаться в его предмет, не самый интересный, но необходимый для тех, кто мечтал поступить в технический вуз. Угловатый и жилистый, длиннорукий и длинноногий, с массивными надбровными дугами и крылатыми рыжими бровями, он уважал легкую атлетику и постоянно внушал нам, что искусный легкоатлет в отстаивании своих прав не только не уступит хорошему боксеру, но еще и даст ему фору.

Когда Михаил Константинович высказался по этому поводу в первый раз, Юрий Третьяков поднял руку и сказал: «Есть анекдот. Боксер повесил в раздевалке свое новое пальто, а на листе бумаги написал: «Чемпион по боксу, попробуй, тронь!» – и булавочкой приколол листочек к пальто. Приходит – нет его пальто, только бумажечка висит на вешалке, и на другой ее стороне написано: «Чемпион по бегу – попробуй, догони!» Вы это подразумевали?» Михаил раскатисто рассмеялся, даже руками всплеснул, и мы все засмеялись, а он снова принялся обосновывать свою точку зрения, теперь более обстоятельно. Все это, однако, уже можно было отнести к области минувшего, а теперь мы собрались совсем по другому поводу. Нам было интересно.

- Внимание! – обратился он к нам. – Мы идем в большой поход по реке Коксу, переваливаем через Чаткальский хребет, спускаемся к Чаткалу и уже по этой реке возвращаемся в Бурчмуллу. У нас получается кольцо. Каждый вносит по сто рублей, на закупку продуктов и дорогу; полагаю, этого хватит. Спать придется на земле, не в палатках, их у нас нет. Поэтому у каждого должны быть рюкзак, одеяло, одежда теплая, чтобы не мерзнуть ночами, прочная обувь – лучше всего сапоги, а также миска и ложка. За продуктами пойдем завтра, соберемся в это же время. Выедем утром послезавтра. Поедем поездом до Барража, там зафрахтуем грузовик – и в Бурчмуллу. Наша тропа начинается и кончается в Бурчмулле. Ко мне есть вопросы?

Вопросов ему задали много – про Бурчмуллу, Коксу и Чаткал, и про высоту перевала, и про общую протяженность маршрута. 110 километров – не хило! Что, если мы пройдем его быстрее, чем за десять дней? «А зачем нам быстрее? – удивился Михаил. – Вы увидите, как прекрасна первозданная природа, и сами не захотите идти быстрее. В горах ведь лучше, чем в Ташкенте!»

- А в чем мы будем готовить? – спросил Аталиев.

- В ведре эмалированном. Подвесим его над огнем на треноге, и – варись, репка большая и маленькая! Ведро понесем по очереди.

- А дровишки будут?

- И другим останутся! Наш путь пройдет через горные леса, почти безлюдные. А на перевале, где дров не будет, мы откроем консервы.
- Если нам понравится, мы сможем пойти еще по одному маршруту? – спросил Альберт.
- Будущим летом, – пояснил Михаил. – После похода мы расстанемся. Я хочу поехать к родителям в Россию, я давно обещал им это.

Дома я сказал тете Саше про рюкзак.

- Нет ничего проще! – заявила она. – Возьми этот холщовый мешок, он вместительный и прочный, и веревку покрепче. Веревку привяжи к краям мешка, справа и слева. Загрузи его, потом обвяжи сверху. Веревки и будут лямками. – И она показала мне, какой должна быть петля, намертво опоясывающая верх мешка. Ей пришлось помытарствовать и в гражданскую войну, и в голодные годы после коллективизации, и в оккупации под фашистами, когда обыкновенный мешок, превращенный в рюкзак благодаря обтягивающим его веревкам, становился необходимой палочкой-выручалочкой.

Я никогда не видел рюкзака такой простой, неприхотливой конструкции. А тетя еще раз пояснила мне, что и как, и я понял, что у меня есть рюкзак. Хорошее одеяло брать было жалко, и я взял брезентовую плащ-палатку отца, привезенную им с фронта, тонкую, но плотную. О, как я жалел потом, что не взял нормального, теплого одеяла! Как я мерз, лежа на этом холодном брезенте и укрываясь хлипкими одеялами друзей! Свитерок я еще взял, рубашку с длинными рукавами, брюки хлопчатобумажные, ботинки зимние, прочные, пару носков. Вроде бы, все. Как мне потом недоставало нижнего белья, шерстяных носков! Тетя Саша, конечно, все у меня выведала, но полезных советов не дала – в походы она не ходила, ее юность пришлось пережить на лихие годы гражданской войны.

Мой рюкзак понравился ребятам, и они сделали себе такие же. Настоящие рюкзаки были только у Михаила и Аталиева. Продукты мы закупили в какой-то туристической конторе, самые что ни на есть походные: сухари, свиную тушенку, рис и гречку, макароны. Из овощей взяли только лук, морковь и чеснок, чтобы не перетруждать себя. «Нам нужны концентраты, концентраты и еще раз концентраты! – сказал Михаил по этому поводу. – Тащить картошечку и капустку на собственном горбу – себе дороже!»

Мы были не против картошки, но с мнением Михаила согласились. То, как основательно готовился он к походу, открыло нам, что он бывалый человек. Так оно и было, все свои отпуска он проводил в походах, на горных тропах или на плотках (сплавлялся он, опять же, по горным рекам). Продуктов на каждого получилось килограммов по шесть-семь, так что нести в общей сложности я должен был килограммов десять-двенадцать. Ведро ни в чей рюкзак не уместилось, и мы договорились нести его по очереди. Сестра сказала, что завидует мне и с удовольствием пошла бы с нами. И Мила, когда мы вечером возвращались из парка, сказала, что завидует.

Я представил себе, как она вышагивает по тропе, склон справа от нее круто устремляется вверх, склон слева не менее круто убегает к реке, а я иду следом и смотрю на нее, наполовину прикрытую рюкзаком. Смотреть на нее мне очень нравилось, что бы она ни делала.

Наше путешествие началось рано утром. Михаил поджидал нас у кассы пригородных поездов. Ого, он и ружье двуствольное с собой прихватил! Что, если удастся подстрелить дикого козла? Или кабана? Попируем! Мы поехали и прилипли к окнам. Башни элеватора были высокие-высокие, ни один жилой дом с ними не сравнится бы. Потянулись заводские корпуса, и Михаил сказал, что все эти заводы были эвакуированы в Ташкент осенью и зимой 1941 года, из Украины и Подмосковья. Потом мы повернули от основной железнодорожной магистрали, которая шла на Москву, направо, и колея побежала по долине Чирчика. Одноэтажные домики замелькали под железными и шиферными крышами, зеленые садики. И начались поля. На полях росли пшеница, помидоры, капуста, лук. И хлопчатник рос, но немного.

Кишлаки потянулись глинобитные, сады и виноградники. Поезд останавливался часто, и из него высаживались молочницы с пустыми бидонами; свое молоко они продали горожанам. Состав постепенно освобождался. «Кибрай! Ботаника! Троицкое! Чирчик!» – объявлял Михаил остановки. Чирчик оказался городом с большим химическим заводом; над его стальными трубами вился лиловый ядовитый дымок. Поезд останавливался в этом городе три раза, пока не проехал его. Протяженный он был, но узкий. Чирчик стоял на правом берегу реки, которая дала ему свое имя. Когда мы проезжали мимо завода, на нас пахло химией, запахом острым и кислым. Малоприятный был этот запах, никому из нас он не понравился. Мы даже носики наморщили. «И как здесь люди живут, как терпят такое?» – удивился Аталиев. А Михаил ничего не сказал, но перестал улыбаться. За городом опять потянулись поля, пшеница на них созрела. В пшенице было много синих цветов и лопухов. На сельских дорогах редкие грузовики везли свою поклажу, а телеги и брички – свою. В них были запряжены лошади или ишаки.

Горы обозначились, справа и слева. Это были пологие отроги, местами зеленые, но большей частью успевшие пожелтеть. Долина сужалась, горы справа уже являли собой внушительное зрелище. Выделялась серая

глыба Чимгана, она словно притягивала солнце; белый спрут прочно охватывал ее вершину добрым десятком цепких своих щупальцев. «Туристам положено горланить песни! – объявил Михаил. – Сумеем, или слабо?»

Увы, по части песен мы оказались слабаки полные. Мы никогда не пели вместе; в школе ни разу не попытались создать хор или вокальный кружок. Мы знали «Катюшу» и некоторые военные песни, и «Широка страна моя родная», и «Бродягу» из нового индийского кинофильма. Попробовали начать с «Катюши» – и осеклись, увидев, как неслаженно у нас получается.

- Тогда Сережа прочитает нам стихотворение «Ты жива еще, моя старушка!» – вдруг объявил Аталиев и уставился на меня своими выпуклыми, лучезарными глазами. «Старушку» я прочитал, и «Собаке Качалова», и «Никогда я не был на Босфоре». А поэму «Черный человек» не окончил – станция Барраж, конечная. Все выходят!

- Что такое барраж? – спросил Валентин.

Михаил пояснил. Так англичане называют гидротехническое сооружение, которое перегораживает реку. Барраж – это перехват, в данном случае перехват воды. Здесь Чирчик перегораживала плотина с большими красными щитами, которая направляла значительную часть реки в канал Бозсу. На этом широком канале, идущем к Ташкенту и снабжающем его питьевой водой, стояли гидравлические станции и вырабатывали электроэнергию. Станций было много, целый каскад. Часть из них построили еще до войны, и это было большим подспорьем эвакуированным предприятиям.

Прежде чем искать попутную машину, мы зашли в чайхану и перекусили. Шурпа, горячая лепешка, чайник зеленого чаю – что может быть лучше? В чайхане восседали одни мужчины, преобладали седобородые аксакалы. Они пили чай и говорили, и степенность отличала их слова и движения. Смотреть на аксакалов было интересно. Я подумал, что эти люди из другого мира; наверное, так оно и было: перед ними легко представляли те времена, в которых меня еще не было. Про их мир очень трудно было сказать, лучше ли он нашего, европейского, или хуже. Для нас он был чужим изначально, и его искусственное соединение с нашим миром было вынужденным и временным. Время, отведенное соединению, могло кончиться через десять или через сто лет, это особенного значения не имело. Вот, Великобритания лишалась сейчас всех своих колоний, - они дружно от нее отпочковывались, но, кажется, сильно по этому поводу не переживала. С неизбежным не поспоришь, себе дороже обойдется.

Я подумал: «Как плохо, что я не знаю узбекского языка!» Среди учеников нашего класса никто не говорил по-узбекски. Мы дружно игнорировали этот предмет, а наш преподаватель узбекского языка Гумер Юсупович не предпринимал ничего, чтобы изменить такое отношение к его предмету. Мы жили в русской части Ташкента и с узбеками общались только на базарах. А на базарах все узбеки худо-бедно, но говорили по-русски. У нас в классе учился только один узбек, Борис Нурмухамедов, но мать у него была русская, а отца своего он не знал. И на уроках узбекского языка ему дружно подсказывали наши татары Рустам Муратов и Рафик Янбулатов.

Кажется, царь-батюшка повелел русским, которые пришли в Туркестан 85 лет назад, селиться отдельно от коренного населения, на землях свободных или выкупленных. Чтобы не мешать, и чтобы им не мешали. На этот факт на уроках истории нам указывали, как на неравенство и дискриминацию. Но в чем здесь дискриминация, если это удобно и русским, и узбекам? Здравый смысл увидел я в этом факте и взаимный учет интересов, взаимное уважение интересов, а больше ничего. Но все царское в наше время полагалось порицать и чернить, что и делал наш учитель истории.

Грузовичок мы ловили долго. То машина уже была заполнена кишлячными парнями и их скарбом, то шофер запрашивал непомерно дорого. Лишь часа в три мы покатали, по плотине – на левый берег, мимо славного города Газалкента. Воды в Чирчике было много, и через отверстия в плотине, над которыми нависали поднятые плоские стальные щиты, она с ревом устремлялась вниз, гудела и брызгалась, и разносила вокруг прохладу. Что ж, еще вчера эта вода была снегом и льдом на высоких пиках Тянь-Шаня. Затем грунтовая дорога устремилась вверх по долине, на восток. Она нещадно пылила, и вскоре лица, одежда и рюкзаки у нас стали одного цвета – цвета белесой дорожной пыли. Грузовичок неспешно полз себе, напрягаясь на подъемах, набирая приличную скорость на спусках, а мимо проплывали пшеничные поля, виноградники (они легко вскарабкивались на горные склоны), сады абрикосовые, яблоневые, и ореховые.

- Каранкуль! Ходжикент! Юсупхана! – объявлял Михаил названия кишлаков, непритязательные домики которых с крышами саманными, а кое-где и шиферными прятались под кронами тополей и фруктовых деревьев. Бурчмулла, значит, была дальше. Мы еще раз пересекли Чирчик, который спрятался в глубоком каньоне – деревянный жухлый мост жалобно проскрипел под нами и слегка пошатнулся, и вскоре увидели этот большой зеленый кишлак. Он вытянулся по обоим берегам Коксу, правого притока Чирчика. То есть, здесь Чирчик уже был Чаткалом. Ибо ниже и тоже справа река принимала приток Пскем. Чаткал и Пскем, сливаясь, и образовывали реку Чирчик, в которой нам так нравилось плавать жарким летом.

Бурчмулла взбиралась на пологий горный склон, отвоевав у него примерно четверть. Я огляделся. В трех местах склоны расступались, давая проход рекам, причем Коксу прорубила себе глубокий каньон. Сады и кибитки Бурчмуллы окружили нас. У базара водитель затормозил. Мы попрыгали вниз, отряхнулись, умылись, черпая воду горстями из прозрачного арыка. Нам очень не помешало бы раздеться и выкупаться. Но низкое

солнце продиктовало Михаилу другое решение: «Вперед, мальчишки!» Провозгласив этот девиз, он зашагал в сторону ущелья, по дну которого струилась-пенилась громкоголосая речка Коксу, или Голубая вода. Правда, в этом месте она более походила на зеленую. Какой каньон она себе пропилила, а? Это сколько же лет ей пришлось стараться? Миллион лет, не меньше. Только что такое миллион лет для матушки-земли, возраст которой ученые оценивают в четыре миллиарда лет?

Мы закинули рюкзаки за спины и пошли, пошли. Дорога, на которой с великим трудом могли разминуться две арбы, вскоре превратилась в тропу. По ней каждый день прогоняли на пастбища скот, и от пыли пахло навозом так же остро, как им пахнет в хлеву. Теперь солнце светило нам сбоку и в спину, а, перейдя по шаткому мостику на правый берег, мы ступили в блаженную тень, отбрасываемую хребтом. Михаил поднял вверх руку, мы подтянулись, и он сказал: «Любопытная деталь: Бурчмулла – таджикское село. Это самый северный таджикский этнос. За хребтом, в тени которого мы идем, живут казахи, там Казахстан. Большая часть нашего пути пройдет по землям Киргизии. По сути дела, мы сейчас находимся на стыке трех республик. Почему таджики оказались так далеко от своего народа, не знаю и объяснить вам не могу. Вопросы будете задавать на привале. А сейчас быстренько переобулись, если кому-нибудь ботиночки трут ножки, огляделись – и вперед! Ночевать будем у ручья, под лиловой скалой, похожей на парус. Сумерки не должны застать нас в пути – ночью по горам не ходят. Все ясно? Тогда вперед! Придется поднапрячься. Но это только сегодня, завтра мы уже не будем торопиться».

И мы пошли за ним. Прекрасный ходок, он задал темп, для большинства из нас тяжелый. Из середины я быстро сместился в конец цепочки. А Валентину, Альберту и Шурику было хоть бы что. Пот заструился по груди, вискам и щекам, волосы прилипли к затылку. И откуда во мне столько воды? На сколько процентов человек состоит из воды, на семьдесят или на восемьдесят? А река внизу была хороша необыкновенно. Она бесновалась, обтекая обломки скал размером с маленький дом; ее рокот закладывал уши. Она вздымалась и пенилась, огибая утесы и валуны. И почти везде она была белая, всклокоченная. Левый борт ущелья устремлялся ввысь почти вертикально. Местами он был лилового цвета. Кусты и деревья невзрасные, корявые выпирали прямо из скал, из расщелин и трещин. Им годилась любая зацепка. Иногда деревце росло на необозримой высоте, держась неизвестно за что и питаясь неизвестно чем. В таких крутых горах я был впервые и не переставал удивляться их первозданной мощи.

Ручеек мы перешагнули, совсем прозрачный. Влево ответвлялось ущелье, и он, значит, стекал по нему от самых пиков. Я не удержался, лег и напился прямо из него. Вода была приятная, но она сразу же превратилась в пот. Ого, наши уже далековато! Быстрее! Я нажал, но расстояние сократилось незначительно. Да, физическая подготовка – мое слабое место, и надо что-то делать, только без полумер. Вот, Валентин за какой-нибудь год как развил себя! Книжник и любитель помечтать, я часто игнорировал уроки физкультуры, хотя наш физрук Иван Васильевич Ребров был учитель, каких поискать. Он дневал и ночевал на наших скромных спортивных сооружениях и обожал тех, кто умел быстро бегать и далеко прыгать, умел забивать голы, метать копье, толкать ядро, класть на лопатки на борцовском ковре. Иван Васильевич, я больше не буду игнорировать ваш предмет! Я даже соглашусь с вами, что он поважнее всякой этой алгебры и геометрии, всяких там основ дарвинизма. Ну, для чего мне всю жизнь помнить, что сумма углов в треугольнике равняется 180 градусам, а в прямоугольнике – 360? Какая мне от этого знания практическая польза? Меня, может быть, привлекут совсем другие градусы, те, которые указаны на этикетках винных бутылок!

Как крут противоположающий борт ущелья! И цвет у него какой-то мрачный, зловещий. Прямо стена вертикальная под самое небо. На него не вскарабкаешься. А если подниматься по этой расщелине? На метров сорок можно подняться, а дальше опять вертикаль. Вот если веревочку спустит кто-нибудь сверху, тогда другое дело. Тропа изогнулась, и я вижу, что Михаил далеко впереди. Ему хоть бы что, идет и идет. Вышагивает, как первопроходец. Мог бы сверстников позвать, но он нам оказал эту честь. За ним кучно шагают те, кто посильнее. Приотстали Юра и Витенька. А я замыкаю шествие. До Михаила метров двести. Скорее! Чертов рюкзак, веревочки-лямки впелись в плечи. И откуда во мне столько воды?

Двое на ишаках прут нам навстречу. На ишаках широченные вязанки дров. Михаил сторонится влево, жмется к склону, и все как по команде сторонятся влево. Останавливаются и пропускают вьючный транспорт. Мне маленькая, но передышка. Я пропущу ишаков с их ношей вот здесь, тут пошире. И тоже приму влево. Если принять вправо, да ишак подтолкнет, можно покатиться вниз до самой воды. Прошли и не задели! Процокали копытами. Их погоняли глазастые ребятишки помоложе нас. Работают. Кивнули мне, а я кивнул им. Что это, давняя привычка к натуральному хозяйству, или угля в их Бурчмулле не завозят? Или уголек отцам этих ребятишек не по карману?

Скорее! Еще поворот тропы, и я нагоняю Виктора. «Однако! – бросает мне Витенька, мокрый, как из-под душа. – Знал бы, какая это потовыжималка, сидел бы дома, в картишки резался! С проигравшего кружечка пива, а? В вечернем парке? Черт побери, как ты взмок! – чертыхнулся он. – Я тоже такой же мокрый и красный?»

- Такой же, - говорю я без всякой жалости к мокрому Витеньке. – Давай поторопимся!

- Торопись, если можешь! – отвечает Виктор и пропускает меня. Теперь я уже не замыкаю наше шествие. Еще поворот, и первые деревца кивают мне, словно приветствуют. Какие они хилые, кривые! На голом

камне не разгуляешься. А где сейчас солнышко? На высокой горе? Я оглядываюсь. Долина Чаткала и Бурчмулла давно прикрыты выступами скал. Сколько мы уже пробежали? И надо ли идти так резво, на пределе возможностей? Это не штурм вражеских укреплений, когда чем быстрее, тем лучше. Вокруг такая красота, а мы премся, высунув языки. Спина Юрия Третьякова замаячила впереди, но не приблизилась. Деревья, кажется, встали гуще, сплотились неизвестно по чьей команде, уступ расширился и скрыл от нас реку. А шум воды неумолчный остался. Впереди уже виден поворот направо, но до него пока далеко. Кажется, там горы чуть-чуть расступаются, там больше неба.

Ура, ручей! Бежит и позванивает, студеный! Деревья вдоль него высокие, и стоят густо. Переходим через него, стараясь не поскользнуться на влажных камнях, ныряем в узкую расщелину между двумя утесами, и справа возникает скала, похожая на парус. Под скалой уступ, как раз такой, чтобы все мы на нем разместились. Ребята уже сбросили рюкзаки. И они славно попотели, рубашечки хоть выжимай! Но перевели дыхание, и им хоть бы что. Юра задымил «Прибоем», спрятавшись за кустом шиповника. «Привал! – командует Михаил. И вновь предупреждает: – Завтра не будем так торопиться, у нас не кросс на приз газет «Правда Востока» и «Кызыл Узбекистон»! Внимание! Собираем хворост, готовим очаг, расчищаем места для ночлега! Шевелимся, пока светло! Камней под одеялами нам не надо, а вот травка не помешает!»

Мы разбредаемся. Хвороста здесь немного, сказывается близость кишлака. Вот уже огонек занялся в очаге, а на него водружено ведро с водой. Будет суп с макаронами (Альберт сказал – со шлангами) и со свиной тушенкой. Я возвращаюсь к ручью и жадно пью. Какая вкусная вода! Лучше, наверное, не бывает. Я смотрю на тугую прозрачную струю, на то, как она закручивается в штопор, обегая корни и камни, потом распрямляется, потом урчит, стекая с камня, нагибаюсь и пью еще. Я не могу напиться. Тропа выжала из меня сто потов, и жажда велика необыкновенно.

Валентин наклоняется к ручью рядом со мной. «Здорово, правда? – шепчет он и пьет жадно, большими громкими глотками. – Ну, Михаил! Да он двужильный дядечка! Молодец, молодец. Мы тоже молодцы!» – Этого можно было не говорить. Я вовсе не чувствовал себя молодцом. Выдохшаяся мокрая курица – вот кто я. Как трудно было дышать, особенно на подъемах! И как обидно было терять высоту, чтобы потом наверстывать ее снова! Тропа иногда ни с того ни с сего ныряла вниз, и мы теряли высоту, а потом ее наверстывали. Вдвоем мы спускаемся к реке за хворостом. Окунуться бы! Но здесь сразу понесет. У воды скорость, как у паровоза. Темнеет медленно. Мы поднимаем с земли несколько толстых сучьев, а пару сухих веток ломаем прямо с деревьев и возвращаемся к лагерю. Другие тоже приносят хворост, и его набирается вполне достаточно.

Я стелю плащ-палатку на месте, которое кажется мне ровным, ложусь на нее и обнаруживаю, что кругом выпирают камни. Я выбираю камни, которые выпирают, а Валентин и Геннадий рвут траву, что посуше, и кладут под брезент. Будет и мягче, и теплее. Ляжем втроем, укроемся двумя одеялами, Валькиным и Генкиным. Одеяла постелим в длину.

- Первая звезда! – объявляет Альберт Аталиев и тычет пальцем в небо. Оно еще совсем белесое, скорее дневное, чем ночное. Но солнце сошло даже с самых высоких вершин. Я подсаживаюсь к очагу, и Михаил поручает мне почистить пять луковиц и пять морковок. Всегда пожалуйста! Я чищу их и режу, не мелко и не крупно – как умею, а Михаил отправляет их в ведро. Вода уже кипит, и две баночки тушенки стоят, открытые. И буханка хлеба разрезана на порции. Обидно только, что ничего из этого не взято из моего рюкзака. Завтра мне бы полегчало. Ого, сколько звезд уже горит над нами! Ночь зажигает звездные костры, это так торжественно. Интересно, что днем мы кажемся себе большими-большими, а ночью – маленькими-маленькими. Зато ночью видно, как необъятно Мироздание. Что в нем наша планета? Крошка, пылинка! Плывет себе в пространстве и ни на что не опирается. А звезды на что опираются? Ни на что. Это и удивительно. Плывут себе в таинственную неизвестность и ни на что не опираются.

А волки к нам ночью не пожалуют? Михаил улыбается, его двустволочка приставлена к скале.

- Здесь все животные боятся человека! – говорит он. – Премного осведомлены! Здесь даже медведь уступает тропу человеку. Один кабан-тугодум будет долго думать, как ему поступить...

Смотри, какие вышколенные тут медведи! Как уважительны они к человеку! Но я бы не захотел проверить это на очной встрече. И с кабаном клыкастым я бы не стал спорить, кому остаться на тропе. Подвинулся бы – проходи, кабанчик! Мое тебе почтение, кабанчик!

Темно стало вокруг. Теперь отчетливо видна сфера, выхватываемая костром, а далее царствует ночь. Лес, скалы и горы сплошь черные, неразличимые. А небо опустилось совсем низко. Вот они, звезды! Как их много! В городе над нами столько звезд никогда не зажигается. В городе мы и не смотрим на звезды. В городе нам не до звезд, мы даже не вспоминаем, что они есть. Их заменяют нам электрические лампочки.

- Ужин! Давайте сюда миски! Получайте хлеб! Самые проворные могут рассчитывать на добавку! – приглашает Михаил. Я очень устал и ем без аппетита. Я устал просто обвально. А Гена управляется первый и протягивает пустую миску – давайте обещанную добавку! Валентин, Альберт и Юра тоже просят повторить. Остальные не столь активны.

- Признавайтесь, у кого коленки дрожали? – спрашивает Шурик Колокольцев. – Я как гляну вниз, так обмираю. Это сколько же катиться до речки, если оступишься? Но смотрю – все идут в аккурат друг за дружкой, вниз никто не летит. Значит, думаю, и я не полечу! А страшно, правда, шагать по такой крутизне!

- Это уж точно – не полетишь! – поддакивает Михаил и обещает, что впереди будут узкие места, которые не для слабонервных. Огненная черта обозначается над нами – след сгоревшего метеорита.

- Странник небесный залетел, заблудился! – говорит Альберт.

- И сгорел! – говорит Юра. – Сколько звезд, мать честная! И как далеко до самой близкой?

- Четыре световых года, – поясняет Михаил. – Световой год – это расстояние, который свет проходит за год со скоростью триста тысяч километров в секунду. Свет от солнца достигает земли за семь минут. – Он будет преподавать нам астрономию, но через год, в десятом классе. Значит, просторы Мироздания измеряются не километрами, как земные, а световыми годами. И сколько световых лет до его края? Миллиарды? А мы – в самой середине этих миллиардов световых лет или ближе к какому-нибудь краю? Почему же тогда жизнь каждого из нас так ерундово мала?

Ночь еще сгустила свои краски – до полной черноты. Огонь поярчал. Мы помыли опустевшее ведро и вскипятили в нем чай. Чай хлебали из мисок, как суп, ложками. Все еще хотелось пить. Как тропа вымотала нас! Выжала прямо. «К краю уступа по малой нужде не подходить!» – дает последние наставления Михаил. Наконец, мы ложимся. Я надеваю на себя всю одежду, которую взял из дома, и мне тепло. Но Гена видит, что на мне меньше одежды, чем на нем и Валентине, и велит ложиться в середину.

Как замечательно звездное небо! Какое от него сильное притяжение! Там иные миры, и я не хочу отводить от них глаз. У далеких звезд вращаются свои планеты, и на тех планетах может быть своя жизнь. Но вопрос, повторяет ли она земную, едино ли все живое во Вселенной? Сие нам еще долго будет неизвестно. Возможно, сие будет неизвестно и нашим внукам. Я не мог вообразить себе иную жизнь, сильно отличающуюся от земной. Да, других эталонов перед моими глазами не было. Затихают, замирают последние блики костра. И все теперь черное, кроме неба. Сгорает еще один метеорит. Только рокот воды не слабеет. Я закрываю глаза.

Непривычно жестко. Я не спал еще на таком твердом ложе. Утверждают, что у того, кто спит на голых досках, удивительно стройная фигура. Проверим, станут ли наши фигуры привлекательными к концу путешествия. Хорошая фигура у Валентина. И у Альберта. Юра слишком коренаст, Геннадий – расплывчат, Рустам, Витенька и Шурик худы и легковесны. Пусть хватке Шурика можно позавидовать, но все равно он худ и долговяз. Жердочку он напоминает.

Больше, кажется, я ни о чем не подумал. Я провалился в сон, и он закачал меня на своих медленных качелях.

1У

Когда я открыл глаза от сознания, что мне неприятно, мне в глаза светила луна, и я повернулся на правый бок. Было не холодно. А потом я проснулся от того, что стало холодно. Рассветало, и один край у белого облачка, проплывавшего прямо надо мной, был румяный-румяный. Рокот быстрой реки не стал тише. Странное дело, он не гасил другие звуки, не имел такого свойства. Запел соловей, ему ответил второй. Звонкие, задиристые трели сменяли одна другую. Соловьи старались, словно ими управлял незримый дирижер, для которого можно было выложиться. Казалось, что они соревнуются, кто из них поет лучше. Ну, и голосистые птахи! А посмотришь на них – совсем крохи, меньше воробья.

Заворочался глыбообразный спальный мешок, в который упаковал себя Михаил, и показалась его голова, взъерошенная и заспанная. Даже брови у него были взъерошенные. Первым делом он оглядел нас, все ли на месте, затем посмотрел на часы. Удивился, что только пять часов. Побудку было делать рано даже по строгому армейскому регламенту. Его голова снова нырнула в мешок, и я тоже заснул под соловьиные трели.

- Кончай ночевать! – раздалось над моим ухом. – Подъем! Куда пойдем? Далеко пойдем! Поэтому подъем! – Это Шурик изголялся. А Михаил сидел у очага в полной походной форме. Огонь пылал, его языки облизывали дно ведра. Совсем светло было, даже ярко. Я встал третьим, спустился к реке. Здесь Коксу текла быстро и плавно, не дыбилась у порогов и скальных уступов. Белая коса из крупного гравия тянулась далеко, и река ее подмывала, отступая от левого берега, сплошь скального. Одно дерево было наполовину подмыто, наклонилось и было готово упасть в русло. «Березы!» – обрадовался я. Почему я вчера не обратил на них внимания? Они росли иногда и по четыре, по шесть стволов от одного корня; их матовые листья трепетали, словно струились по ветру. Встал и Гена, умывается рядом со мной.

- Природа! – изрек он уважительно о берегах и обо всем вокруг. – Правда, утром все другое, не как вчера? – Я кивнул, и тут нас позвал Михаил и передал в наши руки надзор за очагом и гречневой кашей в ведре, над которым вился ароматный парок. Минут двадцать мы кашеварили, а соловьи пели и пели, не зная устали. Они очень для нас старались, а самих этих птах не было видно, такие они маленькие, невзрачные. За что, за какие заслуги природа наградила их таким дивным голосом?

Позавтракав, мы потопали навстречу солнцу. Но сначала внимательно огляделись, не позабыли ли чего. И правильно, что огляделись – обнаружили рубашку Витеньки, висевшую на суку, и чьи-то носки. Михаил сделал разгильдяям внушение. Шли уже без спешки, головки направо и налево поворачивали не по команде – по собственному желанию. Было, было на что смотреть, и было жалко, что всего этого не запомнить. Втянулись в один березовый лес, во второй. Прошагали по краю огромной синей осыпи, откос которой олицетворял собой прямую линию. Тропа вилась вдоль реки и задач нам не задавала. Все было не как вчера, все было куда приятнее, комфортнее. Но пот не заставил себя ждать. Впереди возвышалась куча гравия, поросшая кустами шиповника и барбариса. Когда мы на нее взошли, увидели, что весь этот материал принесен ручьем, впадавшим в Коксу. Значит, процессы формирования рельефа не прекращаются никогда. Чем тогда неживой мир, в котором тоже все течет и изменяется, отличается от живого? Все свидетельствует о том, что связь между ними теснейшая. Можно даже говорить о единении мира живого и неживого, ведь из одного в другой и обратно перетекает постоянно.

Тропа вознеслась над рекой, и нам открылось ее километровое протяжение. Серый камень размером с домик скатился когда-то в русло, и река огибала его справа. Деревья тянулись к воде, чтобы напиться. Склоны, что поположе, были зеленые, а трава – в рост человека! Теперь Михаил не торопится. Часто замирает, дает нам время оглядеться. Красиво-то как, мать честная! Я и не знал, что природа бывает так непосредственна, так величава. Краски контрастные, сочные. Небо яркое-яркое, и всем другим краскам, лесам, реке и скалам перепадает от яркости неба. Солнышко какое лучистое!

В лесу мы останавливаемся – привал! Кто-то садится на бережок, а я ложусь на травушку-муравушку. Березы надо мной, а в развоях ветвей – небо. Развоя тихо шевелятся, смещаются. Если никуда не торопиться, сколько я бы вот так пролежал? Час? День? День – это я загнул, это несерьезно. Валентин ложится рядышком и тоже смотрит вверх. Тоже вбирает, впитывает в себя эту несказанную красоту.

- Какой контраст с городом! – говорит он. – Ты мог бы построить здесь домик и жить?

- Наверное. Я не в восторге, когда вокруг полно людей, и каждый занят только собой.

- А что здесь можно делать? Выпасать скот? Охотиться? Держать пчел? Мыть золото? Мыть золото я бы согласился, а баранов пусть пасут другие. Я не приучен пасти баранов. Михаил еще не спугнул ни одной крупной птички. Мы не видели ни животных, ни птиц, которые подпадают под разряд дичи. Зато соловьи резвятся в свое удовольствие! Махонькие, а как стараются!

- Не видели дичи, так увидим. И рыбку половим! Михаил сказал, что тут водится форель. Ты ел когда-нибудь форель? Я – нет. Нам надо поймать ее и попробовать!

И далее тоже мы движемся неспешно. Час пути – и двадцать минут отдыха, еще час пути – и полчаса отдыха. Скалы причудливы невероятно. Издали некоторые утесы очень похожи на средневековые замки, подточенные временем. На утесах много мха, который напоминает бархат. Утесы, покрытые бархатом – это интересно. Двух дроздов мы увидели. Они слетели на берег, попрыгали, напились, искупались, а потом долго отряхивали воду со своих черных перышек. Симпатичные птахи. А мы им тоже симпатичны? Да или нет? И тут Михаил, который шел впереди, спугнул кекликов. Это горные курочки, светло-коричневые, чуть-чуть меньше домашних. Он сразу вскинул ружье и замер, а нам дал отмашку, чтобы остановились.

За первым кекликом поднялись еще три. Они летели низко и натужно махали крыльями, а криком «ко-ко-ко» (ну, словно курочка квохчет) расчищали себе дорогу. В них Михаил не успел выстрелить. Последним, прямо на тропу, выбежал еще один кеклик. Он очень раскормил себя и не мог взлететь. Михаил выстрелил и положил его на месте. Мгновенно прореагировал, знал, что кеклики не пасутся по одному. Когда он выстрелил, из кустов поднялись еще три птицы. Убитого кеклика подержал в руках каждый. Он был размером с хорошего цыпленка. Голова у него была совсем куриная. Кеклик и есть горная курочка, или горная куропатка.

Обеденный привал устроили на пологом выступе, который река огибала плавно, прижимаясь к отвесной левобережной скале. Вертикальный откос был высотой метров двести. Задираешь и задираешь голову, а где наверху обрывается скала, не видно. Супчик мы приготовили фасольевый, а вместо одной банки тушенки положили кеклика. Фасоль варилась долго, мы успели проголодаться.

- Ежевика! – позвал Альберт от берега реки. – Налетай, подшевели!

И мы налетели. Ежевика росла целой колонией, и в гроздьях имелась уже ягода спелая, лиловая, вкусная, особенно в слегка подвяленном виде. Юра спугнул змею, которой тоже нравилась ежевика. Змея была с темными пятнами на спине, наверное, ядовитая. Такого напарника нам было не надо.

- Набираем на компот! – скомандовал Альберт. Но на компот ягоды не хватило. Миску с лиловой ягодой мы дали Михаилу, пусть тоже полакомится. Он нам – кеклика, мы ему – ежевику.

Пока фасоль обретала готовность, мы нашли место, пригодное для купания. У берега лежал большой камень, вода его обтекала, и если войти в реку рядом с камнем, вода не унесет. Холодная вода выталкивала нас на берег тотчас же, с ощущением приятного жжения в груди. Михаил тоже соблазнился, вошел в воду метрах в десяти впереди камня, и поток подхватил его и понес. Он скользнул за камень в тиховодь и, блаженно отдуваясь, вышел на берег. Нам он запретил повторить свой эксперимент. С быстрой водой шутки плохи – унесет и измочалит о камни.

После обеда мы пробездельничали до четырех часов, а потом пошли, и темп был выше, чем утром. Втянулись? Наверное. Река поворачивала, и круто, на север. Слева в нее впадал ручей, путь которого легко было проследить от самых вершин: задирай голову и смотри. Один высокий уступ мы преодолели, забравшись на него. Спустились к реке и оказались в зарослях камыша. Как он попал сюда, ведь здесь высоко, как пророс? Камыш скрывал нас с головой и шелестел, раздвигаясь и смыкаясь. Орешины появились могучие; значит, мы еще не поднялись выше полутора километра над уровнем моря. Выше орешины в этом краю не растут. Потом снова пошли березы и ивы. Пасечник повстречался нам на белой лошади. Михаил поговорил с ним, выказал почтение. Пасечник держал путь на Бурчмуллу. Привал мы сделали под орешинами, ползали в поисках ежевики, набрали на яблоньку, богато увешанную плодами, которым созреть еще предстояло месяца два. Пошли дальше; закатное солнце светило нам в спины. Характер тропы не менялся, из лесов на скалы она взбегала не так уж часто. Легкой я бы ее не назвал, но тропа не была и трудной, утомительной. Смотри под ноги, ступай аккуратно, не оступайся, и тебе не грозят никакие неприятности.

Следов хозяйственной деятельности человека мы пока не наблюдали. Ни одна хижина еще не встретилась нам, и мы не видели, чтобы здесь выпасали овец или коров. И правда, здесь было не развернуться. Скорее всего, пастбища и отары размещались наверху, на альпийских лугах, на склонах куда более пологих, чем те, которые нас окружали. Иногда мы пересекали настоящие замшелые чащи, заполненные сухостоем. Для заготовителей дров эти урочища были далековаты, и они сюда не добирались. Но почему нам еще не встретились туристы? Или мы одни такие решительные и смелые?

Впереди мы увидели скальный склон, почти плоский, не изъезженный морщинами. Ущелье вновь сужалось. Мы вошли в тень; это была самая сердцевина сужения. Скала стояла в русле реки, на ее вершине росла маленькая березка. Скалу словно аккуратно разрубили топором на две неравные части. Из этого разруба река и вытекала, не бурля и не сквернословя. Она была словно поставлена на ребро, ее глубина в этом месте была куда больше ширины. Впервые за два дня пути мы видели такую смирную реку. И такую величавую. Вода здесь словно отдыхала, а потом ей предстояло мчаться вниз быстро-быстро.

- Щель! – объявил Михаил. – Так это место называется. Оно самое примечательное на нашем маршруте. То есть, ничего красивее вы далее не увидите. Поэтому смотрите и запоминайте: скалу как будто разрубили топором. Можно купаться! В щель можно заплывать, там спокойно. Ночевать будем за щелью!

Мы разделись и дружно устремились в щель. Впечатление такое, словно врываешься в пещеру. В грот. И холодина страшная – выталкивает, как пружина. Еще немного вперед, в самый мрак, в самую узость, а потом назад, назад! Дрожим, как цуцики. Прыгаем и согреваемся. Щель, а ты ничего! Правда, в тебе много мрака. Неужели это река распилела скалу надвое? Река несет камни, а камни пилят скалу. Так и распилели, без спешки, по сантиметру в год. Нет, неправдоподобно, чтобы это сделала река. Скорее всего, здесь постаралось землетрясение. А ночевать мы будем немного выше.

Место, выбранное Михаилом под ночлег, пологое и зеленое, но уж больно каменистое. Ничего, обживемся, устраним лишние камушки, травкой их прикроем. Я вижу деревце близ скалы, под ним совсем ровно. Кладу туда рюкзак – занято! Зову Валентина и Гену. Мы дружно рвем траву, которая посуше. Мягкое ложе куда приятнее жесткого, ради этого можно и постараться. Опять очаг, опять огонь под черным от копоти ведром (отмоется ли оно потом?). Что будет на ужин? Каша рисовая без мяса. Мясо было у нас в обед. Годится и каша рисовая, когда ее много. Снова день тихо угасает, и снова скалы чуть ли не смыкаются над нами, и рокочет быстро текущая вода. Рокот – это протест или аплодисменты? Или эти образы из чисто человеческих отношений и не подходят к дикой природе, которая всегда сама по себе?

Первая звезда, которая проклюнулась, тиха и смирна, как девочка-подросток, впервые пришедшая на вечер танцев. Она как бы жметесь в свой уголок. Мы ужинаем, потом смещаемся к костерку поближе. К живому огоньку, такому желанному. Мы его подкармливаем непрерывно, а он благодарит нас, теплом одаривает, дымком овеивает. Дымок, правда, нам ни к чему, комаров здесь нет. Сегодня мы устали не как вчера. Устали, но не вымотались. Прошли в три, нет, в четыре раза больше, выложились, но не вымотались.

- Вечер вопросов и ответов! – объявляет Альберт Аталиев. – Вопрос первый, политический. Никита Сергеевич Хрущев и Георгий Максимилианович Маленков заменили собой Иосифа Виссарионовича. Те ли это фигуры, которые способны заменить такого человека?

- Заменить Сталина... кхе, гм – разве это возможно? – говорит Геннадий – Сталин был вождем и учителем, и ни Хрущев, ни Маленков никак не выделялись за его могучей фигурой. Даже Вячеслав Михайлович Молотов держался скромняк-скромняком. Они – только его ученики. Пусть лучшие, но ученики.

- Но правильно ли они идут по пути, указанному товарищем Сталиным? – спрашивает Альберт и придает лицу суровость, свойственную строгому учителю.

- По пути, указанному Владимиром Ильичем Лениным, – вкрадчиво поправляет Михаил, к дискуссии такого рода совсем не готовый. Я задумываюсь. Смерть Сталина в марте этого года была национальной катастрофой. По крайней мере, так ее восприняли я и мое окружение. Боль и скорбь была нашим ответом на эту смерть. Мы словно лишились надежной каменной стены, и неудобно стало, холодно. Что будет, что будет? Каждый вопрошал, но не получал ответа. Ответа не знал никто, империалистическое окружение

торжествовало: рухнул исполин, которому удавалось осуществлять самые грандиозные планы. Теперь в корейской войне, для нас совершенно неожиданной, после двух бросков на юг и двух откатов на север наметилось затишье, северяне и южане удерживали примерно те территории, которыми располагали до войны. Американцы и ООН всю помогали Южной Корее, мы и Китай – Северной. Надо ли было каждому из нас, чтобы в далекой Корее полыхала война и в наши дома приходили похорожки? После большой войны с немцами нужна ли нам была война маленькая в какой-то Корее, неизвестно за что? Этот вопрос давно назрел, но мы боялись его произнести. Мы и не знали, кому его адресовать.

После смерти Сталина прошло, однако, четыре месяца, и ничего плохого с нашей страной не случилось. Только традиционное снижение цен в марте было куда скромнее, чем в предыдущие годы. Почему? Поверженная Германия уже выплатила нам все контрибуции? Или для военных ученые придумали новое оружие, которое стоило больших денег?

- Со Сталиным нам было спокойно, а сейчас почему-то нет, - сказал Шурик.

- Со Сталиным тебе было, как за каменной стеной? – спросил Юра Третьяков.

- Примерно, да. Со Сталиным мы вон куда продвинулись, и Китай теперь с нами. Значит, с той стороны, где Китай, к нам теперь не подступят.

- А если бы в мире все обстояло тихо и пристойно и никто на другие страны не зарился, разве было бы не лучше? Не спокойнее? – стоял на своем Альберт.

- Разве так бывает? – удивился Гена.

- Так не бывает, - поддакнул Витенька. – Так еще не было никогда.

- Мне тоже без Сталина плохо, - сказал Валентин. – Его смерть мне очень напомнила смерть отца.

По силе и глубине переживаний. Теперь мы словно открыты всем злым ветрам, всем бурям.

- Но нам же не надо определяться заново, менять курс, перестраивать свои ряды, - сказал Юра и посмотрел на нас, словно ждал возражения, встречных вопросов.

- Тяжело, когда приходится определяться, ставить новые цели, - сказал Шурик.

- Много может и поменяться, - вставил свое веское слово Михаил.

- Например? – встрепнулся Альберт и поддался к Михаилу.

- Народы, которые Сталин заклеил словом «предатели» и выслал в наши края, наверное, теперь смогут вернуться в свои дома.

- Это крымские татары, чеченцы, немцы? Калмыки? Чеченцы русских никогда не любили и не жаловали.

- Да, - сказал Михаил. – Не думаю, чтобы их выселили справедливо.

- Разве они не предавали?

- Не думаю, чтобы среди них было больше предателей, чем среди украинцев и русских, - стоял на своем Михаил. – Предавали, в основном, те, кого Сталин раскулачил или обездолил каким-нибудь другим способом. Обиженные и предавали – в отместку. Но этих вопросов каждого из вас по возвращении домой прощу нигде не касаться и про нашу сегодняшнюю дискуссию никому не говорить. Мало ли какая сорока окажется рядом? Разнесет на хвосте, и начнутся неприятности. Вам это надо? Мне это и близко не надо.

Мы приняли этот совет, как данность, для большинства из нас совершенно очевидную.

- Жалко, что с нами нет больше Сталина, - сказал Шурик. – Очень жалко!

Я опять задумываюсь. Потерять Сталина было очень тяжело. Только все домашние почему-то никак не комментировали это событие, как будто оно их сильно не коснулось. Бабушке Марии Мартыновне 83 года, и это ее совсем не коснулось. Она кивнула, когда ей сказали о смерти Сталина, но ни одна морщина не стала глубже на ее лице, похожем на коричневое печеное яблоко. Ну, поведение бабушки понятно, любая власть от нее сейчас отстоит очень далеко. Почему отец, мать, Муся и тетя Саша не были так опечалены, как я и Оля? Почему тетя Саша, которая старше матери на пятнадцать лет и пережила страшный голод на Украине сразу после коллективизации, как мне показалось, вздохнула с облегчением – словно ноша тяжелая упала с ее плеч?

- Дай Бог, чтобы мечта о коммунизме была воплощена нашими руками! – сказал Михаил. – Я часто вижу перед глазами страну, совершенно преображенную.

- Это когда у каждого советского гражданина будет по автомобилю, как в Америке? – спросил Альберт. Все его вопросы содержали подвохи, и глубокие. Учителя боялись его вопросов и советовали ему пореже открывать рот, особенно в присутствии людей малознакомых или проверяющих. Но Альберт знал, конечно, когда и кому задавать свои каверзные вопросы. Он не был ни прост, ни наивен. В нем давно уже пробудился аналитик. Горящие его глаза говорили, что круг его интересов широк, что в него входят все важные мировые проблемы. Лицо же его оставалось простым, даже простоватым, и интерес к мировым проблемам на нем не запечатлевался. Азарт оно выражало, и больше ничего.

- Алик, ты считаешь, что твоя семья сейчас живет бедно? – спросил Михаил.

- Никак нет, Михаил Константинович! Благодаря моей матери, которая занимала высокий пост, мы даже в войну не бедствовали. Но рядом жили ребята, которым все время хотелось есть, и хлеб им давали

маленькими порциями, остальное прятали, а матери шили им одежду из своих старых вещей. Я помню их большие голодные глаза и тонкие шеи.

- В войну мы, дети, были вещами, которые взрослые старались сохранить во что бы то ни стало, - сказал Геннадий. – С тех пор, как мы победили, мы с каждым годом живем лучше. А насчет машины... У нас, у кого отцы с войны не вернулись, даже велосипедов нет! И я буду счастлив, если выучусь на инженера и заработаю на машину.

Я вспомнил войну, и тротуары, по которым шли безликие люди на костылях и с пустыми рукавами, и тротуары, на которых безногие и безрукие сидели с краю, а перед ними лежали кепочки, и в эти кепочки тот, кто мог, клал рубль или копейки. Какими жадными глазами смотрели мы на каждый кусок хлеба! Хлеб с маслом и чай с сахаром были чудом необыкновенным, а порция мороженого на палочке – чудом из чудес, доступным разве что в редкие праздники. Но мать, я помнил, мечтала не о хлебе и не о рисовой каше, а о письме от отца. И когда письмо задерживалось, ее охватывала тревога, она менялась в лице и часто не слышала то, что мы ей говорили. Каждое письмо отца было для нее праздником и счастьем. Она ждала и надеялась, и победа оправдала ее надежды – отец приехал домой, живой и невредимый. Первое время я говорил отцу «вы» и никак не мог привыкнуть к его военной форме и орденам.

- Вы будете счастливы все, - сказал Михаил. Мы знали это и сами. То есть, это подразумевалось самым ходом нашей жизни.

- Я слышал, что к нашей школе пристроят спортивный зал! – сказал Шурик.

- Ну, это после нас! – воскликнул Юра.

- В будущем году развернется строительство, - внес корректировку Михаил.

- Как раз к нашему выпускному вечеру подоспеет подарочек! – подытожил Валентин. И подумал о девушке, с которой будет танцевать на этом вечере. Она училась в женской школе за железной дорогой, близ транспортного института, увлекалась гимнастикой, получала одни пятерки и слыла недотрогой. А я подумал о девушке, с которой буду танцевать я. И вдруг поставил их рядом – девушку, которая нравилась мне, и пассию Валентина. Девушка, о которой мечтал Валентин, ни в чем не проигрывала моей Людмиле. Звали ее не русским именем Аделаида. Фамилия же у нее была вполне понятная – Герасименко.

Ночью мне не было жестко, но я все время наткался на локти и колени Гены и Валентина. В середине ночи пришел холод. Холод подкрался сначала к ногам, потом к животу, заставил напрячься, сжаться в комок, подтянуть колени к подбородку. А утром снова бесподобно пели соловьи. Они приветствовали рассвет с восторгом, присущим маленьким детям. Неистовствовали прямо. Им, значит, не было холодно, как мне. Перышки их защищали. И щебетали они будь здоров как неугомонно!

У

За щелью каньон вновь сузился; река бесновалась. Кипела прямо и дыбилась. Мы шли по нагромождениям из крупных скальных обломков и были внимательны, чтобы не оступиться. Михаил сказал, что это известняки и когда-то здесь было дно моря, которое затем поднялось. Ничего себе! Дно моря теперь подпирало само небо. Такое возможно, когда континентальные плиты напирают друг на друга и деформируются от перенапряжения. Несколько раз над нами пролетели дикие голуби. Михаил даже не сдернул ружье с плеча. Правильно: подстрелишь птичку, а не достанешь, с тропы надежной направо – налево не повернешь. Голуби гнездились высоко в скалах и были с ними одного цвета. «Сизаки!» - сказал про них Третьяков.

Водопадик мы увидели на левом берегу. Он низвергался по отвесной скале и был тонкий-тонкий: белая нить на лиловой скале. Вот бы встать под него! Мы полюбовались этим чудом природы и пошли дальше. Кукушка начала куковать в березовой роще и куковала долго. Юра сказал: «Хитрая птаха – она предрекает долгую жизнь всем нам или кому-то конкретно?»

- Она предрекает долгую жизнь мне! – сказал Альберт.

- Бросаем жребий, кому куковала кукушка! – загорелся Валентин. Гвалт поднялся веселый; мы уже шли вперед и не уставали. В одном месте тропа стала совсем узкая, и Михаил крикнул: «Осторожно!» Я ощутил холодок от легкого покалывания страха, когда стопа моя едва уместилась на крошечном выступе. Но ничего плохого не произошло, никто не оступился, и вскоре тропа снова нырнула в густой, замшелый лес. Отдохнули у большого потока, который вливался в Коксу с нашей стороны. Через него было перекинута осклизлое бревнышко. Ступить на него никто не решился.

- Препятствие преодолеваем вброд! – отдал команду Михаил, разделся и первый вошел в воду, где было поспокойнее. Он подстраховывал себя палкой. Вода забурлила, обтекая его, словно он был опорой моста. Перейдя приток, он кинул палку следующему. Я ступил в ручей четвертым или пятым. Поток напирал очень плотно, а камни, выстилавшие дно, были большие и угловатые, острые, еще не обточенные водой, скользкие-прескользкие. Многие из них вымывались потоком прямо из-под стопы. Палка очень помогала, без нее меня бы понесло. Она была, как третья опора. А Виктор поскользнулся, и его поволокло, но Михаил прореагировал мгновенно, сместился вниз и выхватил его из потока. «Искупался? – спросил он. – Ничего страшного! Тропа

быстро тебя высушит. Главное – не испугаться в такой момент, не потерять самообладания! Все уяснили себе: главное в момент опасности – не потерять самообладания!»

Тропа полезла высоко вверх, да с серпантинами! Потом поползла вниз, и мы потеряли высоту, набранную с таким трудом. Когда она снова круто устремилась вверх и вознеслась над рекой, мы увидели, что впереди ущелье расступается, разветвляется, разделенное надвое белесой горой правильной конической формы. Мы миновали одну пасеку, потом вторую, подле которой Михаил задержался, переговорил с бородачом-хозяином и купил у него литровую банку меда. Улья стояли на открытом месте, на равном расстоянии друг от друга, и над ними роились пчелы. Травы окрест цвели и благоухали. Словно приглашали: работайте, пчелки! Старайтесь, пчелки! Пасечники жили в маленьких глинобитных хибарках с окнами размером с форточку на нашем окне. Покрывают они были камышом и глиной. Едва ли пасечники оставались здесь на зиму. Когда они откочевывают отсюда? В сентябре? В октябре? Как они мирятся со своим одиночеством? Или они его просто не замечают?

Тропа снова устремилась к воде, затем поднялась над рекой и привела нас к домику более солидному, в котором жила большая киргизская семья. К нам вышла мать семейства; ее муж был с отарой на одном из близких склонов. Место это называлось Айрык, по имени крупного притока, через который был перекинут мостик. Женщина плохо говорила по-русски, и когда мы простились с ней и пошли дальше, на широкоскулое лицо ее сошло облегчение. Девочка и мальчик, оба босоногие, стояли подле нее, держались за подол застиранного платья и смотрели на нас во все глаза. Оба пасечника были братьями этой женщины. Сколько дров здесь надо запасти на зиму, если эти люди здесь зимуют? Сколько зерна, сахара? Зерно она молола сама, дробила каменным пестом в каменной ступе до тех пор, пока оно не превращалось в муку. Каменный век, и никаких признаков цивилизации! С другой стороны, цивилизация – вот она, рядом, но этим людям привычно держаться несколько в стороне от нее, на некотором отдалении. Чтобы она их не задевала, не смущала своими новшествами вроде электрической лампочки, автомобиля или радиоприемника. Старина глубокая, их окружавшая, им не мешала. Они с ней сжились, а разные новшества их удивляли и озадачивали.

За нами было последовала большая лохматая собака, казахская овчарка, но женщина позвала ее, и собака сразу подчинилась. По двум спаренным бревнам мы перешли через ручей Айрык, углубились в лес – березы стояли, как напоказ, одна красивее другой, – их листва лилась-переливалась, как вода в реке, а затем по нормальному деревянному мосту, который был в состоянии выдержать лошадь и седока, перешли на левый берег Коксу и оказались в яблоневом саду. Ура, привал! К сожалению, яблоки созревали позднее, и мы занялись сбором ежевики. Гена вызвался подкармливать огонек.

- За этим хребтом Чаткал! – Михаил показал на зеленый склон над нами, который круто уходил вверх. – Перевал Алям – вон он! Не перед нами, а много левее!

Перевал был далеко впереди по течению реки. Обыкновенная седловина.

- Завтра – поход на завальное озеро по Айрыку и дневка, послезавтра – штурм перевала!

Нам оставалось принять это к сведению, что мы и сделали. Здесь было просторно, привольно, не как в первую и вторую ночевки. Горы раздвинулись и не давили, напротив, позволяли рассматривать себя. А река была ощутимо уже, раза в полтора уже, чем в Бурчмулле. Как далеко отсюда ее истоки? Здесь вполне мог стоять маленький хуторок на пять – десять домиков, пастбищ вокруг было много. Мы пообедали и разбрелись, кто куда. А ножки-то гудят, побаливают, нагрузка для них непривычная. «Кто со мной ловить форель?» – кинул клич Михаил. Альберт, Валентин, Юра и Шурик захотели порыбачить, и он каждому выделил по крючку с привязанной к нему леской и велел сначала наловить кузнечиков. Кузнечики часто сами прыгали в реку, и форель лакомилась ими. Удилища, оказывается, не полагалось, леска привязывалась за палец, крючок с кузнечиком и свинцовым грузилом бросался в поток, затем извлекался, ниже по течению, и забрасывался снова.

- Клюнет – сразу почувствуете, и сразу тяните! – наставлял Михаил.

И у ребят-таки клюнуло. Михаил поймал шесть форелей размером побольше ладони, Валентин и Юра – по четыре, Альберт и Шурик по – три. На ужин у нас была царская уха, вкусная необыкновенно. И ежевики мы насобирали половину ведра, на густой компот и еще на завтра. На уху к нам пожаловал чабан Ахмед, и был премного доволен оказанным ему приемом. Он лучше говорил по-русски, чем его жена, и от него мы узнали, какие здесь зимы, как долго держится снег, как близко к овчарне подходят волки, и какие теплые тулупы и шапки получают из волчьих шкур. Еще он рассказал нам, какие в верховьях Коксу красивые завальные озера, только спускаться к ним трудно – там все дикое-дикое, там редко ступает нога человека и не тропы. Ему удавалось подстрелить не только волка, но и кабана, медведя, и медвежий жир, весьма целебный, он отвозил в Ташкент и продавал больным туберкулезом. Он вел жизнь размеренную и трудную, без выходных, уход за овцами подразумевал это; но точно так же жили его отец и дед. Детей, которые достигали школьного возраста, он отвозил к родственникам в Бурчмуллу, и там они посещали школу. Ни на медицинскую, ни на какую другую помощь он и его семья не рассчитывали. При каждой беде они привыкли помогать себе сами. И то правда, здешний горный воздух обладал прекрасными целебными свойствами. Но они и в травах разбирались, собирали их, сушили на зиму. Травы оберегали их от напастей больших и маленьких.

- Ахмед, ты в колхозе, или ты сам по себе? – спросил Михаил.

- Я, как это... единоличник! – ответил чабан с гордостью и в грудь себя постучал. Ему нравилось жить так, как жили его предки – в единении с природой, без дорог и без радио, без других атрибутов цивилизации. – Но я... я как бы в колхозе, я как все. По-другому нельзя, вот так! Я числюсь в колхозе, мое имя там! По всем отчетам, я в колхозе!

- Как же так? – удивился Альберт. Но Михаил приложил к губам палец, прося его убавить любопытство и проявить его позже. Формально Ахмед состоял в колхозе – чего тебе еще надо? Сюда же он уединился для того, чтобы быть самому себе хозяином. И правда, тут он никому ничего не должен. Чабан посидел с нами недолго. Убедившись, что каких-либо поползновений с нашей стороны на его собственность не будет и что водки мы ему не предложим, по причине ее отсутствия, он простился и степенно удалился.

- Кулак! – воскликнул Шурик.

- Но живет в хижине бедняка, - сказал Геннадий.

- А сколько у него скота? – спросил Альберт. – У него в личной собственности может быть пятьсот баранов!

- Чем больше, ребята, тем лучше, - неожиданно заключил Михаил и, видя наше недоумение, пояснил: - Вы что, каждый день едите мясо? В магазинах и на базарах его так много, да? Вот перед вами человек, который выращивает скот, и продает его, и живет от этого. Он работает весь световой день, и без выходных. Вы сами увидели, как он работает. Ваши родители пашут столько? Нет же. Так уважайте его труд!

- Но этот человек богатеет! – вставил Альберт.

- А что здесь плохого? Или этому человеку лучше быть голым и сырым, и пусть ваши родители кормят его, как неспособного прокормить себя? Вы, когда заживете своими семьями, захотите, чтобы в ваших домах было все, и чтобы ваши дети ни в чем не испытывали нехватку. Так уважайте тех, кто хорошо работает! Равняйтесь на них, перенимайте их опыт!

Я подумал, что в Ташкенте и сейчас многие, кто живет в собственных домах, держат скот, коров и свиней, и это для них большое подспорье. Генкин дед Василий Евсеевич выращивал двоих кабанчиков, и тут все было ясно: его пенсия мала, и мала пенсия его супруги Марии Ивановны, а у матери Геннадия Нины Николаевны, которая работает бухгалтером в далеком зерновом совхозе, тоже невелики возможности, чтобы помочь родителям и сыну. Ведь при ней двое младших детей. На нашей улице многие держали коров и кур, и мы покупали у этих людей молоко, яйца. А эти хозяева покупали сено и комбикорма на базаре. И обкашивали палисадники и берега арыков, где росла трава.

- Вот вам повод подумать, откуда что появляется на ваших столах, - еще сказал Михаил.

- Из колхозов! – крикнул Витенька.

- Из совхозов! – добавил Геннадий.

- И с приусадебных участков! – подсказал Михаил. – На базарах почти все приусадебное, частное, свое. Колхозных продуктов на всех почему-то до сих пор не хватает.

- Рыболовецкий флот! – добавил Альберт.

- Закупки за границей! – подсказал я.

- Какие закупки, у нас все наше! – не согласился Юра.

- А кофе? Чай? Пряности? Рис?

- Все со времен войны помнят американский яичный порошок и американскую свиную тушенку! – крикнул Альберт. Ему нравилось быть заводилой и возмутителем спокойствия.

- Ну, когда это было? – вставил свое слово Витенька.

- А ты помни, что было – эти заморские продукты спасли тебя!

- Подножный корм, вы про него забыли! – напомнил Шурик. – Грибы, ягодки лесные. Мы вот кеклика подстрелили, рыбку поймали, ежевику собрали – и кричим: «Ай, вкусно!» И все так поступают! Исходя из своих возможностей. Моя бабка в Вологде, знаете, сколько грибов собирает? Ей на всю зиму хватает, и нам еще присылает. Спасибо, бабушка!

- Давайте считать, что и колхозные продукты, и частные, с приусадебных участков, - это все наше, и думать не о различиях между ними, а о том, что надо сделать, чтобы и тех, и других продуктов было больше, - предложил Михаил. И на этом добром пожелании наши жаркие прения мирно завершились. Мы еще посидели у костра. Мы сделали его большим-большим. Мы отодвинулись от него, и все равно нам было жарко. Белое пламя дрожало и пульсировало, и из него выплескивались оранжевые искры. Мы выпили компот, затем подоспел чаек, и мы потянулись к банке с медом. Когда мы ополовинили ее, Михаил отодвинул ее от нас. «Завтра тоже будет ночной костерок, и будет чай, и вам захочется меду», - сказал он.

- Нехорошо обжираться! – согласился с ним Альберт. – И форель, и мед в один прием! Это уж слишком, это явный перебор положительных эмоций! Избыток нежности при общей бедности!

Я улучил момент и направился к реке. Присел на берегу. Луну скрывал хребет, а свет звездного неба позволял различать все предметы, но только как серое и черное. Вода с рокотом катилась вниз. Налетали порывы ветра и шевелили кроны деревьев, а ветви кустов раздвигали и пригибали долу. Костер окружала ярко выраженная желтая сфера. Я спросил себя, хотел ли бы я жить здесь, вот на этом самом месте, у горной реки, при

яблоньках плодоносящих, при орешинах, в гордом уединении от общества. Я представил себе, что возле меня не будет ни отца, ни матери, ни сестры, ни школьных милых приятелей, что я буду оторван от всех новостей, и не захотел этого. А я и Людмила? Вообразить это было очень даже интересно. Но я сразу увидел, что жизнь в уединении не для Милы. Ей уж точно было хорошо, когда рядом с ней все бурлило, и каждому ее поступку предшествовали варианты, из которых можно было выбрать один, самый-самый...

А если бы мы втроем – я, Гена и Валентин – обслуживали здесь метеостанцию? Это был любопытный вариант, таивший в себе массу соблазнов. Потом я стал думать об Ахмеде. Он жил здесь потому, что здесь родился и вырос и привык, точнее, прирос к этой земле. Стал единым с нею целым. У него здесь отара, а у его родни – пасеки. Сколько в отаре овец? Двести? Пятьсот? Тысяча? Сколько из них он ежегодно продает или сам забивает на мясо? По моим подсчетам выходило, что Ахмед – зажиточный человек. Но знает ли он о том, что происходит в мире, в Корее, например? Однако тотчас поднимался оппонент и задавал встречный вопрос, а так ли ему необходимо знать это, и большая ли беда в том, что самые свежие новости дойдут до него с опозданием в месяц, в полгода? Воевал ли он, или горы заслонили его от мобилизации? Как он лечит жену и детей, когда они болевают, как лечится сам? Травами и голодом, как советуют табибы? Как он чувствует себя зимой, когда горы покрывает двухметровый снег и в Бурчмуллу не пройти ни пехом, ни на лошадке?

Потом я сказал себе, что не следует брать в голову чужие заботы, все равно в них глубоко не вникнешь, ведь они никогда не были и не станут моими. Мне нравились места, по которым мы шли, и я хотел бы приходить сюда каждое лето. А осенью тут, наверное, еще лучше, тогда лес сплошь желтый и оранжевый, и поспевают орехи и яблоки, и еще шиповник и барбарис. Какой компот вкуснее, из ежевики или из барбариса?

Я так же тихо вернулся к костру, как и отъединился. Ничего не изменилось, мое отсутствие никому не бросилось в глаза. Шурик Колокольцев хвалил роман «Три мушкетера», а Альберт Аталиев хвалил романы Фенимора Купера – за их близость к дикой природе. Но отгеснить на второй план авантюриста Д.Артаньяна было не так-то просто, он мгновенно выхватывал шпагу и нацеливал ее острие на каждого нового оппонента. А Михаилу нравился этот задорный гвалт. Гвалт не утихал еще часа полтора. Затем мы расползлись по своим лежбищам и спрятались под свои хилые одеяльца. Ночью снова стало холодно, а под утро – совсем холодно. И я опять корил себя за недалёковидность: ведь всем известно, что высота – это холод. Встать, поприсесть, подойти к очагу, зажечь огонь? От вчерашних углей дрова займутся быстро. Но я не встал, а напряг мускулы ног и живота. Я проделал это раз сорок, и нехотя холод отступил. А вскоре забрезжил рассвет, и соловьи дружно его приветствовали. Их трели были бесподобны.

У1

Мы выступили в восемь, и это говорило о том, что с каждым днем мы становились все организованнее. Оказывается, холод разбудил до рассвета не одного меня. Вот и Шура жалуется, что утром у него зуб на зуб не попадал, и Юра сетует на свою безалаберность – не позаботился взять теплую одежду. Мы идем вдоль ручья Айрык по тропе, по которой за полчаса до нас прогнал отару Ахмед. Значит, он поднялся еще раньше. Я вспомнил его вчерашнее: «Арак борми, арак борми?» Увы, водки с собой Михаил не взял, не посчитал нужным. Ахмед, значит, куда сильнее соскучился по водке, чем по хорошему чаю. Значит, из многочисленных атрибутов городской культуры в его сознании глубже всего отложилась водка. Надо же! То, что он не мог пойти в кино, не значило для него ничего. А то, что он не мог приложиться к заветной бутылочке, очень его обижало.

Мы выстроились компактной цепочкой. Теперь между всеми были равные интервалы. Ущелье просматривалось далеко вперед. Мрачное оно было и серое, особенно в дальней своей части, изобилующей поворотами. Хребет справа (мы поднимались вдоль левого берега Айрыка) отделял нас от братского Казахстана. На его склонах можно было выпастить овец. Арча повстречалась нам, сучковатая, закрученная в штопор, затем еще одна. Кора на ней обтрепалась, и с нее свисали коричневые лохмотья. А, вообще, лес обрывался сразу, дружно. Березы здесь уже не кучковались, как вдоль Коксу. Айрык принял приток слева от нас. Мне бы не хотелось подниматься по ущелью, которое он избрал своим ложем, такое оно было сумеречное, лиловое, узкое. Но нам и не надо было туда. Айрык спускался с хребта, который отделял Коксу от Пскема – реки, раза в три более мощной и протяженной, чем Коксу. Я смотрел на хребет, который приближался, и видел, что тем, кто попытается преодолеть его, будет тяжело. Уж слишком круто он устремлялся ввысь. Зато перевал, на который мы поднимемся завтра, не показался мне тяжелым. Нам не придется карабкаться по скальным кручам.

Вокруг было великое обилие травы, и никто не выкашивал ее, не сушил, не складывал в стога. Она была подножным кормом для овец, и только. Травы цвели и благоухали; особенно хороши были синие цветы. А розовые, а желтые? Как называются эти травы? Вот это папоротник, а это мальва, она выше человека. Это репейник обыкновенный, и к нему лучше не прикасаться, сразу обрастешь липучими его семенами. Но то, что я выделил, лишь малая толика здешнего растительного мира. А остальное? Про остальное я не знал ничего, я взирал на это многообразие растительного мира впервые. А трава была выше нас, овцы до нее еще не добрались. Так где же завал? Он впереди.

Мы обходим обломки один крупнее другого. От горной стены откололась скала, рухнула и рассыпалась на маленькие кусочки. Почему она откололась? От сильного подземного толчка, не иначе. От такого толчка, какой шесть лет назад разрушил Ашхабад. В Ашхабаде во время толчка все спали, и мало кто проснулся, ведь было два часа ночи. А здесь раскололась скала и накрыла ручей. Тропа повернула направо, к альпийским лугам, а мы карабкаемся на завал, на естественную плотину, уложенную поперек ущелья матушкой-природой. «Осторожнее! Без спешки!» – бросает нам Михаил каждую минуту. Не все камни на поверхности завала устойчивы, и часто достаточно небольшого внешнего толчка, чтобы такой камень сместился. Конечно, осторожность превыше всего.

- Кабан! – громко шепчет Валентин. Какой он глазастый! Мы смотрим туда, куда указывает его рука. Михаил уже сорвал с плеча ружье. Впереди, правее тропы, метрах в двухстах, трава шевелится, раздвигается и снова сдвигается. Она и прячет кабана! Ага, теперь видно – там травка пониже. Так это целый выводок! Впереди идет глава семьи и мощной своей грудью раздвигает траву. За ним следует кабаниха, похожая на комод. За нею прутся кабанята, маленькие, как черные шкатулочки. Михаил бросается вперед, но где там угнаться! Кабанов снова не видно, и трава перестала колыхаться.

- Вот это да! – говорит Валентин. – Вы клыки видели у кабана, который папаша? Как сабли!

- В кастрюльку бы такого! – подзуживает Шурик.

- На вертел, на вертел! – говорит Юра.

- Вот и обсмаковали! – смеется Альберт. – Лично я за шашлык. Но где мясо, ребятки? Почему никто из вас не подсутился?

Мы карабкались еще минут пять, и осторожность нам не помешала. Уж очень неудобно было нашим ножкам среди хаотичного нагромождения больших камней. Но вот мы наверху, и под нами озерко – маленькое, по форме похожее на фасоль. До него метров пятьдесят. Не могло разлиться пошире! Спускаться нет никакого смысла – слишком круто, легко навернуться. Там, откуда течет Айрык, сумрачно, дико и голо. Сплошные скалы и ни единого кустика. Продолжение ущелья скрыто поворотом. А там, куда течет Айрык, просторно и светло, и все зеленое. Оттуда мы пришли, и, значит, там уже все наше. И как же, озеро, тебя зовут-величают, кто знает? Михаил не знает, в его лоции соответствующая запись отсутствует. И Ахмед не знает, иначе сказал бы вчера. Маленькое безымянное озеро за высокой завальной плотиной. За малостью ему и названия не дали.

Итак, озеро, ты маленькое и безымянное, примечательное разве что тем, что спряталось за таким большим завалом. О чем ты можешь нам поведать? Что рельефообразующие процессы непрерывны, и что им способствуют катаклизмы? (Через пятнадцать лет, в необыкновенно дождливую весну 1969 года, слева в Коксу перед Айрыком обрушится оползень объемом более одного миллиона кубометров, и запрудит реку. И образуется озеро длиной с километр, красивое, как сказка, а река станет перетекать через плотину, постепенно ее размывая. Я не один раз нырну в это озеро – и сразу же как пробка выскочу на берег, такой в нем невообразимый холод. Еще лет через тридцать по Коксу пронесется паводок чрезвычайной силы – и смоем завальную плотину. И озера, которое к тому времени займется наполовину, не станет, оно исчезнет с лица земли. Я же буду свидетелем как появления озера, так и его исчезновения).

Назад мы возвращались, не очень удивленные увиденным. Ну, озеро, а вокруг одни камни. Озеро в каменном футляре. Даже небо не отражалось в этом озере, такое оно неказистое, скукоженное.

Вернулись к месту нашей дневки, и тут Михаил в минуту переиначил планы. Наитие нашло на него, не иначе. Но, как потом оказалось, это наитие не было со знаком «плюс».

- Еще рано, - сказал он. – Быстро готовим обед – и вперед, на перевал!

Что подтолкнуло его на это решение? То обстоятельство, что мы обрели форму? Вечер подтвердит, что оно было поспешное, неверное. Мы водрузили на очаг черное ведро, сварганили что-то быстрое и простенькое, но сытное, подкрепились, помянули добрым словом вчерашнюю уху, вкусную, как все домашнее, упаковали рюкзаки, огляделись, подобрали забытое (каждый раз кто-нибудь из нас оказывался разгильдяем) – и пошли штурмовать перевал. Лучше бы мы этого не делали, отложили на завтра. Но мы этого пока не знали. Почему выдержка и здравый смысл изменили Михаилу? Потому что он приравнял свои силы и возможности к нашим. Ему казалось: впереди шесть часов светлого времени суток, этого вполне достаточно, чтобы осуществить задуманное. И так бы он и было, если бы...

Но – по порядку. Мы пошли сноровисто и резво, и вскоре тропа уперлась в большой оползень. Он был непреодолим; обойти его можно было только поверху, что мы и сделали. Вновь ступили на тропу, нарушенную оползнем – и уперлись в следующий оползень. Полезли обходить его, обошли, на тропу не наткнулись – и разделились. Самые крепкие – Валентин, Шурик и Альберт – по пятам следовали за Михаилом. А мы поотстали, и Михаил, увлекшись поиском тропы, не сразу обратил на это внимание. Мы не только отстали, но и утратили ориентировку. И сделали то, чего делать не следовало – полезли вверх напрямик, без тропы, по осыпи и скалам. Больше в этот день Михаила и его спутников мы не видели.

Михаил тоже не вышел на тропу, идущую к перевалу. Он ее просто не нашел. Мы с Геннадием и Рустамом, Юра с Витенькой и Михаил с его группой штурмовали теперь не перевал, а хребет, который был много выше перевала. Мы карабкались вверх, помогая себе руками, чередуя броски вперед с короткими передышками.

И Гена, и я истекали потом. Виктор и Юрий шли своим путем, левее, и мы то видели их, то теряли из вида. Благоразумие почему-то вовремя не подсказало нам, что следует держаться вместе. Почему? И почему оно изменило Михаилу, всегда такому выдержанному? Мы спешили и шли на пределе сил, а спешить было вовсе не обязательно.

Уже позже я пойму: в горах всегда следует поступать соразмерно своим силам. Склон, по которому мы поднимались, был крутой и дикий. То и дело нам приходилось огибать утесы и нагромождения камней. Несколько раз мы оказывались в тупике и спускались метров на пять – десять, а затем меняли направление подъема. У нас была очень ограниченная видимость, и мы не могли выбрать оптимальный маршрут. Гена был явно озабочен. Мы уже достигли высоты перевала, который прекрасно видели – он находился далеко слева. А нам еще надо было карабкаться и карабкаться до своих не близких вершин. Нам стало просто плохо после того, как мы сошли с тропы. Нельзя было делать этого. Надо было держаться тропы во что бы то ни стало. А солнце неумолимо садилось. Оно светило нам справа и в спину, и на него уже можно было смотреть, не мигая.

По мере того, как мы поднимались, горная страна принимала все новые очертания. Она словно расступалась перед нами; вершин, открытых обозрению, становилось все больше и больше. Это были строгие пики в белых шапочках, и ко многим из них причаливали облака. Одно из облаков было похоже на несурзанный парусный корабль.

- Слушайте, давай не спешить! – предложил Гена, и мы передохнули, а потом взяли левее, там подъем был более пологий.

- Вот потовыжималка! – сказал я про наш крутой склон. – Где Виктор и Юра?

Мы окликнули наших недавних спутников, но тщетно. Крик взметнулся, погас и не породил ответного отклика. Скалы и изгибы склона спрятали наших друзей.

- Попить бы! – сказал Гена, и Рустам ему улыбнулся. У меня тоже во рту было сухо, как в пустыне, и пощипывало десны. После отдыха подниматься стало легче. Скалы остались позади, и теперь нас окружала трава, густая и сочная. Тут если и приземлишься на пятую точку, то не на скалу. Мы поднялись еще и достигли водораздела. Мы были много выше перевала, оставшегося далеко слева, но ведущей к нему тропы не увидели. Небо над нами из синего превратилось в темно-синее, но это лишь подчеркивало, что мы забрались высоко.

- Давай переведем дух! – предложил я. – Как далеко видно отсюда! Коксу – вон она, белая ленточка! А где Чаткал? Чаткал, где ты? И где наши?

Горы скрывали Чаткал, и до него было не близко. Стало ясно, что ночевать нам придется где-нибудь здесь, на высоте и, скорее всего, втроем. Без костра – деревья здесь не росли, даже арча отсутствовала. Но до воды следовало добраться в любом случае. Страшно хотелось пить. Больше ничего не хотелось.

- Будем спускаться и брать левее, к перевалу! – сказал Геннадий. И мы пошли вниз по горной целине. Хребет сразу замаячил над нами и закрыл солнце. Перед нами простиралось нечто, похожее на плоскогорье. Его членили на отдельные части распадки и ущелья.

- А мы не заблудимся? – спросил я.

- В крайнем случае, спустимся туда, откуда пришли. У Коксу не заблудимся!

Пить хотелось все сильнее. Мы облюбовали ближайший распадок, зная, что по его дну должен струиться ручеек. Когда мы спускались в него, я поскользнулся и покатился, но приземлился удачно – на дресву. «Осторожно! – запричитал Гена, который спускался рядом, но не успел подстраховать меня. – Давай побережем себя! Если что не так, давай обойдем, не будем лезть напрямик!»

Мудрый совет. Гена вообще полон житейской мудрости. Он больше работает по дому, чем я. Потому что его дом при саде и огороде. Воды в сае пока нет, и мы спускаемся все ниже. И вот уже под ногами сыро. Вперед! Почему так быстро темнеет? Потому, что мы спрятали себя в серой узости, а солнце осталось по ту сторону хребта? Еще вниз. Вода, где ты? Ура, родничок!

Мы припали к нему с трех сторон. Пили, переводили дыхание и пили снова. Вроде бы напились, а через пять минут опять приникли к родничку.

- Давай искать место для спанья, - сказал я. – Ночью нельзя спускаться.

Небольшую пологую площадочку мы разыскивали минут десять. Едва ли нам удастся лечь на ней. Удастся, если сожмемся в комок, подтянем ножки к подбородку. «Рвем траву!» – сказал я. На это еще ушло минут десять. Зато теперь нам было мягко. Вот и звездочки проклюнулись над нами. Заглядывают в душу, имеют такое свойство. Только не говорят, далекие. Уже холодно. Наши пропитанные потом рубашечки на нас и высохнут. А что будет под утро? Мандраж, сидром Колымы? Мы надели на себя все теплое и не теплое тоже, но как этого было мало! Движение согревало нас лучше, чем одежда.

- Что у нас на ужин, помимо водички? – поинтересовался Гена.

В моем рюкзаке были рис и сухари, в его – гречневая крупа, лук и две банки сазана в томатном соусе. В рюкзаке Рустама были макароны и фасоль. Перочинный ножичек у меня был, и мы вскрыли одну баночку с рыбкой, а сухарики размочили в воде. И то правда, аппетита после такого перехода не было ни у кого. Значит, мы не просто выложились, а сверхвыложились, перетрудились.

- Хорошо, кто понимает! – воскликнул Геннадий. – Сейчас у нас самые что ни на есть походные условия! Не надо только внушать себе, что мы влипли. Будем считать, что нам ниспослано испытание, и первая задача на сегодня – не замерзнуть ночью, а вторая, на завтра – быстро найти наших.

Правильно он все сформулировал. Луна поднялась и приветствовала нас бледной улыбкой девушки, заслуживающей внимания. В ее присутствии звезды потускнели и отодвинулись на второй план. Мы расположились так, что она будет смотреть нам в глаза всю ночь, совершая обход своих владений по часовой стрелке. Чего-то, однако, нам не хватало. Чего именно? Рокота реки. Удивительная тишина объяла нас, словно окутала. Все живое отпрянуло вниз или уснуло, угомонилось. И ветер угомонился, перестал шевелить траву. Когда совсем тихо, это непривычно. Нас, горожан, все время должны сопровождать какие-то звуки, город без них не может. Я, когда сплю во дворе, слышу, как на вокзале диктор объявляет о прибытии поезда такого-то и такого-то. А до вокзала два километра.

Мы легли, и Генкиного хлипкого одеяла вместе с одеялом Рустама на какое-то время хватило, чтобы удержать тепло. Мы даже задремали. Потом холод подкрался к ногам, обволок их и по ним стал подбираться к животу. Дальше живота он не шел, но живот начинал дрожать и приводить в дрожь все тело. Озноб подступал к самому подбородку. Я стал напрягать мускулы ног, живота и рук – попеременно. И Рустам с Геной стал делать это же. А звезд над нами было больше, чем вчера. Намного больше. Их было необыкновенно много. Одна наша галактика простиралась от края и до края неба. Тысячи, нет, миллионы миров, казалось, готовы были пожать мне руку. Я не знал, какие они, но чувствовал, что в чем-то они подобны нашему. Что живое и там рождается и умирает, а вечного нет ничего. Еще я не знал, что все далекое такое холодное. Холодно было, как зимой.

«А Бог!» – спросил я себя и крепко задумался о вечном. Но учителя и учебники в один голос говорили нам, что Бога нет, и я должен был им верить. Бог мог быть началом всех начал, это мне было понятно. Но Бога не было, и мне было непонятно, как все начиналось. А Гена вдруг вскочил и занялся разминкой. Словно утро уже наступило. «Холод, уйди!» – крикнул он и начал приседать. Рустам и я тоже вскочили и последовали его примеру. Я присел раз двадцать, и холод отступил. Мы согрели себя быстрыми движениями и легли. «Это испытание!» – повторил Гена. Да, знай мы, что попадем в такую промозглость, мы бы по две пары нижнего белья прихватили, и по шерстяному свитеру. Еще лучше для такой ночки подошли бы ватные штаны и телогрейка. Тогда мы бы точно не замерзли. Ватные штаны и телогреечка – чем не спальный мешок? С ними и одеяла не надо!

Запаса тепла нам хватило часа на полтора. Потом мы повторили физические упражнения и увеличили нагрузку. Согревшись, нырнули под одеяло и тесно прижались друг к другу. Не знаю, сколько мы проспали на этот раз, но холод опять поднял нас и заставил двигаться. Созвездия занимали уже совсем другие места. До рассвета было недолго. Наверное, сейчас даже Михаил мандражировал. Но он был от нас далеко. Что, если мы разминувшись с нашими до Ташкента? Нам даже не в чем будет сварить нашу крупу. Мы еще раз заснули – и проснулись при свете дня. Поели сухариков, запили их холодной водичкой и снова пошли наверх, к водоразделу. Не вниз, а наверх. Направление держали на перевал.

У11

И правильно сделали. Выстрел бабахнул, справа и несколько ниже. Ружье было только у Михаила. Мы пошли, ориентируясь на выстрел, и вскоре увидели Михаила, Валентина, Шурика и Альберта. Море радости, объятия, короткие исповеди, слова восторга, - полный отпад, одним словом. Михаил очень переживал, потеряв из виду половину своего отряда. Но с той половиной, которая потерялась, не должно было произойти ничего плохого, он верил в это.

- И слава Богу! - воскликнул Альберт по этому поводу. Он чаще всех упоминал всуе имя Господа, он был эмоциональным человеком. А был ли он верующим? Я не знал кого-либо из нашей школы, кто верил бы в Бога. Если таковые и имелись, свои чувства они не афишировали, родители строго-настрого запретили им делать это. Нам оставалось найти Юру и Виктора.

Михаил подвел нас к скале, ее легко было увидеть издали, - и отдал распоряжение: «Я иду к хребту направо, Валентин и Альберт – налево, остальные сидят здесь и ждут нашего возвращения. Я стреляю через каждые десять минут, Валентин и Альберт орут как можно громче. Мы будем отсутствовать не более часа». Но наши поисковики вернулись гораздо быстрее. Юра и Витенька не стали переваливать через хребет и заночевали на той его стороне, которая была обращена к реке Коксу. Ночь они провели в сидячем положении. Замерзли, как цуцки. Дрожали, разминались и снова дрожали. Но страшно им не было. И нам несколько не было страшно – почему? Потому что мы настроили себя на преодоление препятствий? Слава Богу, никто связок себе не растянул и косточек не поломал, а оступиться в сумерках было пара пустяков. Вместе нам вновь стало хорошо, и тяжесть неопределенности отлегла от души.

- Кто голоден? – поинтересовался Михаил. – Понятно! Завтракаем по второму кругу, в тесной компании. Меню – рыбка, сухарики и остатки меда. Налетай, ребята!

Налетели, но сильно не разбежались, надо было спуститься к какой-нибудь водичке, а мы этого не предусмотрели. Михаил сориентировался по своей лощи, и мы пошли по дну распадка, который стал быстро сужаться и обрастать скалами, как только обзавелся звонкоголосым ручьем. Вскоре мы оказались в каменном мешке. Скалы сузили небо до голубой полосы, совсем не широкой. Но теперь Михаил вел нас не наугад, этот темный коридор в скалах присутствовал в описании нашего маршрута, которым руководствовался Михаил, и должен был вывести нас к Чаткалу. До самого вечера мы не увидели солнца. Шли медленно, бесконечно форсировали ручей, перепрыгивали с одного его берега на другой. Часто отдыхали – уж больно непривычно было идти в такой узости.

Здесь, конечно, и до нас ступала нога человека, но не часто, и следов не оставляла. За день мы не обнаружили ни одного окурка, ни одной ржавой консервной банки. Нас окружала первозданность и тишина; ручей, по своей малости, еще не обрел зычного голоса. Мы шли почти что в сумерках. Узкая полосочка неба над головой, а все остальное – скалы, мрачные, как в преисподней. Надо было задрать голову и перегнуться в поясице, чтобы увидеть куцую полоску неба. И раз, и два Альберт продекламировал: «Куда ты завел нас? Не видно ни зги!» – Сусанину дерзко вскричали враги. Тот, кого он назвал Сусаниным, конечно, ответил ему.

- В крайнем случае, повернем обратно, теперь мы вместе, теперь нам все нипочем, - сказал Михаил с обычной радушной улыбкой. Я опять подумал, каково ему пришлось ночью, под ношей ответственности, тяжелой-тяжелой. Половина его отряда была не с ним, и едва ли он сомкнул глаза. Он ждал завтрашнего дня, который все прояснит. Могло случиться самое плохое, он мог потерять кого-нибудь из своих учеников. Он прогонял эту мысль, но она являлась ему снова и снова. Она и лишила его сна; мы и близко так не переживали, ведь на нас не лежала его ответственность. Я понял, что отвечать за людей – ноша не из легких, и возлагается она на самых умелых и опытных. А если по ошибке она возлагается на новичка, на неподготовленного человека, то ничего хорошего из этого не получится. Что же тогда должен чувствовать тот, на ком самая большая ответственность – глава правительства, например?

Я подошел к Прокофьеву и спросил, не на виду у всех спросил, а тогда, когда нас никто не слышал: «Михаил Константинович, вам плохо было ночью?»

- Очень плохо, и я костерил себя на чем свет стоит, - признался он. – Дай Бог, чтобы это не повторилось!

Да, нам не надо было выступать после обеда, и, главное, не надо было терять тропу. Держась тропы, мы бы быстро взошли на перевал (в последующие годы я проделал это раз двадцать, и подъем занимал у меня ровно два часа) и заночевали на плато в каком-нибудь укромном закутке, на зеленой травке.

В положенный час мы пообедали, все теми же сухариками и консервами. Передохнули. Развести костер все еще было не из чего. К сумрачному ущелью мы успели привыкнуть. Мы знали: придет час, и оно расступится, а солнце снова будет светить нам в глаза. Часа в четыре так и произошло. Ущелье привело нас в долину Чаткала, но не к самой реке. Оно неожиданно оборвалось; ручей низвергался вниз десятиметровым водопадом. На этот случай у Михаила была припасена веревка. Он закрепил один ее конец, а второй спустил вниз. Но, используя выступы и трещины в скале, можно было спуститься и без веревки, мне, например, это удалось. И так же спустились Михаил и Валентин.

Увидеть водопад нам было мало, нам захотелось встать под него. И он пронял нас так же, как ночью пронял холод – до костей. Студеная вода, падая с высоты, ударяла по телу сильно и больно.

Чаткал тек пошире, повольтотнее Коксу. Это была серьезная река, шириной метров шестьдесят, а то и все сто, стремительная, серая, то есть стальная, бурная не сплошь, а на порогах и перекатах. Вверх она просматривалась недалеко, там начиналось сужение, а вниз ее можно было проследить на два-три километра. И на всем этом протяжении она катилась плавно и даже величественно. Михаил сообщил, что осенью по ней серьезные люди сплавляются на плотках и лодках-катамаранах. Плоты могут быть из обычных автомобильных камер. Грозная это была река. Мы представили, как она неистовствует, огибая пороги, и сплавляться по ней нам не захотелось. Тропа была и привычнее, и надежнее. Урочище, в которое мы ступили, называлось Найза – по имени притока, впадающего слева.

- Две трети пути позади, ребятки! – объявил Михаил. – Завтра отдыхаем, приводим себя в порядок, ловим рыбку!

Мы прошли какое-то голое место, заваленное галечником, в то время как левый берег покрывал сплошной густой лес. Вскоре лес перекинулся и на нашу сторону. Тополя росли, и очень высокие, толстоствольные, вдвоем не обхватишь – я таких больших деревьев в здешних лесах еще не видел. Очевидно, тутошний климат был для них очень даже подходящий. И орешины росли часто. Среди них тоже встречались настоящие великаны. Яблони встретились нам, и мы увидели трос, перекинутый через Чаткал, и люльку, к нему подвешенную. Неподалеку стояли два домика под красными крышами.

- Метеостанция! – объявил Михаил.

Мы прошли еще метров триста и остановились на ночевку. Место было совсем ровное, не каменистое, и сухой травы сколько угодно, а дров – так еще больше. Человек с метеостанции к нам пожаловал, представился, поинтересовался, кто мы и откуда. Фамилия его была Дудин. Он зимовал здесь много лет, и отличительной его

чертой было то, что он привечал туристов. Они становились связующим звеном между ним и внешним миром. Каждую зиму это звено обрывалось. Худой и жилистый, коричневый от загара, с яркими, сверлящими глазами, он быстро входил в контакт. А поговорить он любил! Сразу было видно, как сильно он соскучился по людям.

Он сказал, что даст нам завтра сеточку – порыбачить близ устья речки Найзинки, там самое рыбное место. Еще он сказал, что в войну здесь, прямо вот в этом урочище, старатели мыли золото, и после них остались шурфы, пятьдесят или больше. Когда же война кончилась и государство снизило цену на старательское золото, его добыча прекратилась, за нерентабельностью. Так что начать мыть здесь золото можно в любое время, заверил он нас, словно мы завтра же собирались заняться этим то ли прибыльным, то ли зряшным делом. Вот если привезти сюда на дирижабле драгу! Дудин искусно воспламенял наше воображение и широко, заговорщически улыбался.

А что здесь есть, какие руды, помимо небогатых золотых россыпей? Небогатых – это пока, а если копнуть глубже? Геологи ходят, смотрят. В Ангрене они нашли уголь, в Алмалыке – медь, в Алтын-Топкане – свинец и цинк. Это все не так уж далеко отсюда. И кто знает, может быть, здешней горной системе суждено стать новым Уралом? Мысль растекалась по древу неудержимо и дерзко. Дудин просидел с нами допоздна, пока за ним не пришла жена-узбечка. Мы просили и ее посидеть с нами, но она застеснялась, стала прикрывать лицо ладонями. Она не пришла вместе с Дудиным сразу, потому что традиции этого не предусматривали.

Дудин ушел в сопровождении жены, а мы запалили костерок поярче, превратили его в большой горячий огонь, щедро сыплющий искры в ночную тьму.

- Михаил Константинович, почему одних учителей мы любим, а наличие других только отмечаем? – вдруг задал свой очередной не совсем корректный вопрос Альберт Аталиев.

- Наверное, вы любите тех учителей, которые любят вас, - предположил Михаил.

- И которые умеют больше других! – вставил Валентин.

- И кого из нас вы выделили, если это не тайна? – полюбопытствовал Михаил.

- Договариваемся сразу, что присутствующая здесь персона обсуждению не подлежит! – предложил Альберт. – Подразумевается, что эта персона нам очень дорога, но речи о ней не будет!

- Скрытый подхалимаж! – сказал Юра Третьяков.

- Открытый подхалимаж! – засмеялся Шура Колокольцев.

- Не подхалимов прошу успокоиться, их никто ни в чем не упрекает, - сказал Альберт. – Возьмем предмет не профильный, но очень нами уважаемый – физкультуру. Кто нам ее преподавал все эти годы? Иван Васильевич Ребров. Неприсязательный он человек, прямой, интеллигентным манерам не обученный, как некоторые другие. К концу дня сто граммов может пропустить чуть ли не в нашем присутствии. Это у него фронтовая привычка. А мы к нему тянемся. В чем дело, объясните, пожалуйста! Футбольная площадка – его творение, и баскетбольная площадка, и волейбольная. И гимнастический городок. Утром придешь – «Здравствуйте, Иван Васильевич!» Вечером придешь – еще раз «Здравствуйте, Иван Васильевич!» И нет уже у него уроков, а он все торчит при своих спортивных сооружениях, при нас, которые гоняют мяч, бегают и прыгают. И легкоатлеты у него мировые, и футболисты. А сколько у нас боксеров, борцов! Один Рафик Ямбулатов чего стоит, не говоря уже о Шурике Колокольцеве, который здесь присутствует! Шурик, не протестуй, это не подхалимаж. Иван Васильевич и за них переживает, хотя тренируются они не у него. Лицо, как печеное яблоко, тело, как лист бумаги. Нет бы передохнуть старику, о себе позаботиться, но он всегда с нами. И нам любопытно, почему он такой, а другие не такие?

- Потому, что он вас любит, - повторил свой довод Михаил.

- Иван Васильевич – фигура, - согласился Юра Третьяков, парень крепкий, но на футбольном поле и беговой дорожке недостаточно проворный. Он один курил среди нас. Отходил в сторонку, чтобы не нарваться на замечание Михаила, и дымил в свое удовольствие. При случае хвастался, что курит с третьего класса.

- А Ирина Александровна, что, не фигура? – спросил Альберт.

- Фея! – с великим почтением произнес Витенька.

- Француженка! – сказал Геннадий с не меньшим почтением.

- Классная дама, - определил Шурик.

- Всего год у нас, а как себя поставила! Лиса ей в подметки не годится! – сказал Валентин. Лиса преподавала у нас русский язык и литературу с пятого по седьмой классы и делала это традиционно, то есть педантично и скучно. Лиса была назидательная женщина, и для нее мы совсем не старались. А вот Ирина Александровна Гукова была явление на нашем школьном небосклоне, не отличавшемся особой яркостью. Молодая, красивая и умная, она вцепилась в нас, как тренер в свою разноликую команду. Она могла и умела – и потребовала этого же от нас.

Другие тоже требовали, но на ее призыв подтянуться и учиться хорошо мы откликнулись дружно и с великой охотой. Ибо она познакомила, точнее, свела нас с параллельным классом соседней женской школы, и совместные диспуты по творчеству Пушкина и Гоголя подвигли нас на великое старание. Потому что каждому из нас на диспуте оппонировала девушка, и наоборот. Ребята записались в библиотеку, стали читать много и жадно.

И всегдашние середнячки вдруг находили что-либо такое о Пушкине и Гоголе, что возносило их над отличниками. Она подогрела наш интерес к отечественной литературе до очень высокого градуса.

- Математичка у нас тоже на уровне, - сказал Гена. – Конечно, она флегма и педант, но так все разжевывает, что просто нельзя не понять. Мне кажется, она тоже нас любит, но не выпячивает это.

- А географичка? – воскликнул Шурик. – Я плыву за ней, как по морю-океану. Она рисует мир так привлекательно!

- Они на уровне, кто спорит, а Ирина Александровна – высший класс! – гнул свое Альберт. – Или есть несогласные? Слово несогласным, чтобы мы знали, за что щекотать им селезенку!

- Нет, - сказал Валентин. – Высший класс – он издали заметен. Он на нас переходит, мы от высшего класса много чего в себя впитываем. У нас мозги становятся другие, и поведение меняется в лучшую сторону.

- Во-во! – подхватил Альберт. – Мы становимся более подкованными и более переимчивыми! От хорошего учителя мы берем очень много, а от учителя, который так себе, мы берем самую малость, лишь бы в следующий класс перейти. Диспуты, совместные вечера! В какой блистательный мир ввела нас Ирина Александровна! Держу пари, что половина из нас уже влюбилась в девочек из параллельного класса! А мы ее даже прозвищем хорошим не наградили! Француженка – это не ее суть, это где-то рядышком, это отголосок на ее броскую внешность. Суть-то у нее наша, русская, патриотическая! Или есть такие, кто этого не видит?

- Разве Ирине Александровне нужно прозвище? – спросил Гена.

- Михаил Константинович, почему Ирина Александровна не замужем? – спросил Шурик.

- Она была замужем, но развелась, а обзавестись детьми не успела, - сообщил Михаил.

- Не успела или не захотела? – поинтересовался Альберт.

- Это вопрос не ко мне, - улыбнулся Михаил.

- Пусть меня усыновит, я согласен! – крикнул Альберт.

- Ты уже великовозрастен для усыновления, - заметил Михаил под общий гогот.

- Что ж, придется обратить внимание на девочек, которых она водит к нам. Среди них есть очень даже миленькие!

- Премиленькие среди них есть, тут ты прав на все сто процентов. Ты уже приголубил одну из них, - сообщил Витенька, его однокашник. – Ее зовут Стася.

- Это военная тайна, а ты ее разгласил! Как не стыдно? – громко зашептал Альберт.

Да, Ириной Александровной мы были премного довольны. И многими другими учителями. Но не нашим химиком, он ни рыба, ни мясо. И не преподавателем узбекского языка – от него к нам ничего не прилипло, кроме его имени – Гумер Юсупович.

- К преподавателю со средними способностями должно быть встречное движение, - сказал Михаил. – Ого, а мы засиделись. Кто хочет выспаться, в постельку! Полагаю, сегодня никто не замерзнет! Здесь низко, здесь почти юг.

- Не напоминайте о ночи на перевале! – сказал Валентин, и мы побрели каждый в свою постельку.

У111

Я проснулся, когда рассвело. Вышел к Чаткалу. Серая вода струилась быстро и бугрилась там, где из дна выпирали валуны. Было видно, что вдали, в том месте, где через реку перекинут трос, движется люлька, а человек в люльке опускает в воду металлический шест с чем-то блестящим на его конце. Михаил потом сказал, что это Дудин с помощью вертушки измерял расход воды в реке. Поперечник известен, скорость измерена – множь одно на другое и получай расход. Для орошаемого земледелия важно знать, на какое количество воды рассчитывать. Чаткал был широкий и не белый, не прозрачный, как Коксу, а серый, илистый. Значит, выше по течению были размываемые почвы.

Действительно, километров через сорок долина расширялась, и там уже были кишлаки, обширные пастбища и пашня. А можно ли войти в эту воду? Можно, только она слишком холодная. Как ни дергайся, холод быстро проймет до печенок. Я умылся, а разминаться не стал. Мускулы ног протестующе ныли. Все-таки, перевал вымотал нас, выжал и заставил поволноваться. Я представил, что было бы, если бы мы с Генной и Рустиком не нашли наших. Мы бы вернулись по Коксу, голодные и неухоженные. Настрадались бы (наши ребята употребляют другое слово – «намудохались»), но не заблудились. Но не надо об этом. Приключение, как в хорошем романе, завершилось так, что удовлетворило все стороны.

Сегодня мы никуда не торопились, и ребята вставали не спешно, не подгоняемые криком: «Подъем! Кончай ночевать!» Позавтракали совсем поздно, в девять. И почти все отправились рыбачить – с сетью, предоставленной Дудиным, и с самим Дудиным в роли главного консультанта. На стоянке я остался один, не проявил к рыбалке, этому древнейшему промыслу, никакого почтения. Почему не пошел со всеми? Хотелось побыть наедине с собой. И очень хотелось бездействия, покоя.

Наверное, я не был готов к такой большой физической нагрузке, как штурм перевала, и этот штурм основательно выжал меня. Я сел на ствол тополя, упавшего давно, года три назад. Это было дерево средних размеров, уже трухлявое, ноздреватое. Рядом росли тополя помассивнее и покрепче, настоящие великаны. И молодая поросль неистово тянулась к солнцу. Молодой поросли было много, и место под солнцем следовало отвоевать и оставить за собой, закрепить за собой. Неужели борьба за место под солнцем – удел всего живого? Да, это так, это заповедано свыше. У молодой поросли было великое стремление догнать великанов и потеснить их, а еще лучше – занять их место. «Я! Я! Я!» – громко, на весь лес заявляло о себе каждое дерево, и изо всех сил тянулось к солнцу.

А люди разве не такие? Почти каждый из нас стремится выдвинуться, достичь сначала одной жизненной высоты, потом второй и третьей, а если этого не получается, человек становится вял, апатичен и никому не интересен. Стремление к вершинам, максимализм – это почти инстинкт, оно сопутствует человеку едва ли не со дня рождения. Это давнее, но и очень большое приобретение человека.

На тополях сидят и чирикают тысячи воробьев. Чем они питаются? Неужели на деревьях столько гусениц, жучков и паучков? При чем тут воробьи, жучки и паучки? Кого мы вчера выделили из наших учителей? Реброва и Гукову. Обособили и возвели на пьедестал. Я бы присоединил к ним и Михаила. Собственно, это подразумевалось всеми участниками похода. Михаил учит нас не одной физике, он учит нас жизни, той человеческой порядочности и принципиальности, которая делает мужчину гражданином и сыном своей страны. Да, верность слову, порядочность и чувство долга – основа здорового общества.

Ирина Александровна более эксцентрична. Яркая женщина. Но мы прощаем ей и самолюбование, и многие другие качества, отличающие ее от нас, потому что она любит нас. Пусть покрасует, раз ей нравится. Я вспомнил диспут по Пушкину, самый первый, мальчики против девочек, и азарт подготовки, углубление в Пушкина, который оказался неисчерпаем, и азарт ожидания – диспут состоится только через неделю, послезавтра, завтра. Я оппонировал Аде Герасименко, отличнице и гимнастке. Меня взволновала эта черноглазая девочка, в суждениях независимая и прямолинейная. Но она понравилась Валентину, о чем он и сообщил нам с Генкой, улыбаясь счастливо и загадочно. И я тотчас сделал шаг назад. Я не хотел его делать, но сделал, принудил себя. Не мог не сделать. Ибо наша дружба превыше всего.

Людмила Ванина, неугомонная комсомолочка, совсем другая. Она из обычной жизни, где все понятно и легко можно заглянуть на месяц и на год вперед, а то и дальше. А Ада сошла на землю из белого облака, ее колыбелью было синее бездонное небо. Я не спросил себя, кто из них лучше; я не знал этого. Да и ответ мне был абсолютно не нужен. Знака равенства между ними я не ставил, его не могло быть. Если бы они стояли рядом на нашем школьном вечере, кого я бы пригласил танцевать? То-то и оно! Я бы обмер от восторга, замешкался и не пригласил никого. А Валентин один раз танцевал с Адой, но домой не проводил, она предпочла компанию подруг. Я тоже еще ни разу не проводил Милу. Это совсем не просто. В тебе все вдруг затормаживается, тяжелеет – язык немеет, ноги прирастают к земле, и ты уже не хозяин самому себе и своему телу. Ты околдован. Околдован или околпачен? А разве это ни одно и то же состояние, оцененное по-разному, романтиком и циником? Правильно: определение первое принадлежит романтику, определение второе – прагматику.

Как встретились мои мать и отец? Интересно! Они учились в Москве, в одном институте и в одной группе. Какими были их первые шаги друг к другу? Я родился, когда отцу было тридцать лет, а матери двадцать пять. И я, скорее всего, никогда не узнаю, кто была первая женщина, понравившаяся моему отцу, и кто был первый мужчина, понравившийся моей матери. Спросить об этом – упаси Боже! Я могу это себе представить, но это будут не конкретные образы.

Облако напозло на кроны деревьев. Оно было большое и не белое. Оно было неприятного серого цвета. Мышиного, я бы сказал, цвета. Что ему здесь надо в это время? И если сверху закапает, какое дерево нас защитит? Вон та орешина сумеет, она большая, разлапистая, плотная. А если не закапает, а польет? Придется прикрыться плащ-палаткой. Жалко, здесь нет пещер. Мы бы спрятались в пещере и посмеялись над дождем, громами и молниями. А под деревом над непогодой не посмеешься. Задожит, и сквозь крону скоро тоже начнет капать. Непогода сама посмеется над теми, кто спрятался от нее под деревом.

Затем я стал думать, как много у нас хороших ребят. Но дружу я только с Валентином и Генкой. Они что, лучше? На них печать избранности? Я бы этого не утверждал. Но мне с ними хорошо. У нас нет командира, заводилы, но мы всегда быстро приходим к согласию. К общему знаменателю, как сказала бы наша математичка. Мы не забияки и не драчуны. Мы не спорим, отстаивая каждый свое, а действуем, как один человек. С нами считаются, как с неразлучной троицей. Юра Третьяков тянется к Шуре Колокольцеву. Витенька ни к кому не тянется, он и в своем классе как крестьянин-единоличник. Захочет поиграть – идет в компанию, его принимают. Надоело – отъединяется, его и не удерживают. И Рустам явно ни к кому не тянется. А с кем дружит Альберт? Или он не дружит, а командует, повелевает? Он командует целым классом. Зимой бросает клич:

- Натрем снегом смуглые щечки мальчиков из класса «А»! За мной!

И класс «Б» дружно за ним следует, снежки летят в нас тучей, нам приходится пятиться, пока не подоспеет подмога – борец-тяжеловес Рафик Янбулатов и верный его помощник Гелла Лузиноли, единственный в нашей школе, да и в Ташкенте, итальянец. С ними в первой линии мы уже не пятимся, мы давим

и тесним. Дым, то есть снег, стоит коромыслом, и мы вваливаемся в класс много позже звонка, мокрые и довольные. Щечки у всех, конечно, не смуглые, а румяные-румяные.

Альберт командует не напористо, он всегда предлагает дело, в котором хочется участвовать. Его нет, и мы просто пинаем мяч на нашем просторном поле. Является он – и за минуту делит нас на две команды. Вперед, мальчики! Ура, мальчики! Играть команда на команду куда увлекательнее, чем просто пинать мячик друг другу. Азарт вскипает, и каждый старается забить гол. Футбол – такая игра: превзойди себя, но забей гол. Кто выиграл, кто проиграл, потом не суть важно; каждая сторона давно потеряла счет своим победам. Важно выложиться, и мы выкладываемся. А кто вдохновил нас, кто организовал в команду? Альберт Аталиев! У него это в крови. Его руководство не давящее, хотя и импульсивное. Те люди, которые руководят страной после смерти Сталина – Георгий Максимилианович Маленков, Никита Сергеевич Хрущев – они такие или не такие? Альберт со своими врожденными качествами командира мог бы руководить страной или нет? Или для того, чтобы подняться очень высоко, помимо этих качеств, нужны хитрость и сильная воля, жесткость, переходящая в жестокость?

Всех выдающихся руководителей – Александра Македонского, Цезаря, нашего Тимура, Наполеона, Ленина отличали могучий ум, сильная воля и видение нетрадиционных путей, ведущих к цели. Области сподвижниками, сплотить их усилия и добиться своего – это им удавалось в полной мере. Правда, у Наполеона потом все рассыпалось, но тогда почему французы его так возносят? Он для них кумир на все времена.

«Уха, - подумал я. – Скоро наша команда рыбаков явится с рыбкой в руках. Для ухи понадобятся лучок, морковочка». И я стал чистить лук и морковь. Это бабушка великая труженица Мария Мартыновна приучила меня к мысли, что когда один человек без чьей-либо подсказки заботится о другом человеке, в семье все довольны. А там, где этого нет, одни претензии и свары, и все не так. Там нескончаемое выяснение отношений – вместо спокойного делания своего дела.

Лук почищен и порезан, а наших все нет. Или на дружный призыв «Ловись, рыбка большая и маленькая!» - рыбка не откликается? Рыбка, ты почему ведешь себя так индифферентно? Я лег на травку и стал смотреть в развodia деревьев. Туча мышинного цвета прошествовала дальше, но за ней уже следовала другая, побольше и потемнее. Кроны шевелятся, вздыхают, воробьи орут и носятся туда-сюда. Что если я найду здесь золото? Большой самородок, величиной с кулак? Подниму прямо с земли? И что дальше? Что я буду с ним делать? Я вообразил себя обладателем большого самородка, но не возликовал. Мечта разбогатеть не очень-то меня влекла и волновала. Жизнь вокруг меня не очень-то совмещалась с большими деньгами, богатством; богатые люди рядом со мной сегодня не жили. До революции – другое дело, богатых тогда уважали, богатые тогда правили бал. А потом им сказали, что они мало чего стоят и должны уступить дорогу сплоченным рядам пролетариата. Винтовку в них нацелили, чтобы они быстрее вняли сказанному.

И что мы имеем? Нашу страну уважают больше или меньше, чем до 1917 года? Это вопрос на засыпку, или как? Ладно! Вот я, конкретный человек, хочу быть богатым или нет? Самое необходимое у меня всегда было, а с прошлого года был и велосипед. Он поджидал меня в кладовочке семь лет, пока я не вырос, не стал доставать до педалей. Он был выделен отцу из трофейного имущества, при демобилизации, как награда за победу над Германией. Семьям погибших воинов из трофейного имущества не предлагалось ничего – почему? Да, так что я бы сделал с куском золота, поднятым здесь? Как я бы его использовал?

Спрятал, попытался продать? Но кому, по какой цене? Думать дальше в этом направлении было неинтересно. Серое облако проплыло, а у следующего бока были потемнее, и оно спустилось ниже. Я стал смотреть на хребет, который мы перевалили. Подняться можно было на каждую из вершин, обойдя вертикальные откосы. Да, на каждую из этих красивых вершин вел свой путь, как и на каждую из вершин жизни. Потом я стал смотреть на хребет, который отделял реку Чаткал от Ферганской долины. Он был поосновательнее, со спрутами ледников на вершинах. За один день на такую махину едва ли вскарабкаешься. Горы, как продукт деформации континентальных плит. Горы, как морщины старушки матушки-земли. Какое определение предпочтительнее?

Ага, вот и наши! Не медля, я зажигаю огонь под ведром с водой. Каков улов? Куканы в руках у Юры, и у Шурика. И у Дудина, побольше. Как все улыбаются! Взыгрывает в нас древнее начало, кровь охотников и первопроходцев! Мне рассказывают наперебой: сеточку закинули и раз, и два, а она все с мелочью пузатой. Тогда Михаил, Юра и Альберт спустились в реку и подбрили вручную. И вытащили ого сколько! По дну надо было брести, а не поверху вести. Им холодно, а они подбрили снова. И снова вытащили! Им совсем зябко, а они еще раз подбрили. И опять вытащили! Разве на удочку столько возьмешь? Удочка – это детская забава, а сеть, она для серьезных мужиков! Дудин увидел, что у нас нет картошки и лаврового листа, и принес из дома. Рыбу чистили дружно, в четыре ножа. Одно ведерко ухи опорожнили в обед, второе сварили и оставили на ужин. И еще осталась рыбка; было решено запечь ее на углях.

- Кабанчика бы вам подстрелить! – сказал Дудин Михаилу, очень обрадованный удачной рыбалкой. – Ночью надо залечь у картофельных грядок. Кабаны приходят и роют, меня обездоливают. Попробуете?

- Почему не попробовать? – соглашается Михаил. Дудин ему симпатичен. Этот жилистый мужик прямо врос корнями в здешнюю землю. Обслуживание приборов и передача сведений в гидрометеорологический центр отнимала у него не так уж много времени. Оставалось на сад и на огород, на заготовку дров и на охоту с рыбалочкой. Без подножного корма, на крупах и сухариках далеко – хе-хе! – далеко не уедешь, пупок быстро

начнет липнуть к позвоночнику. И на вольные мысли оставалось время, да еще сколько! Ночи здесь, конечно же, длиннее, чем в городе.

- Принесите самородок, покажите! – попросил Альберт. И Дудин приносит. На его ладони – невзрачные, корявые кусочки блекло-желтого металла. Самородное золото! Оно даже не блестит, его сначала отполировать надо. И сколько это в граммах? Двенадцать – это рекорд. Есть по семь, по пять. Общую цифру метеоролог не назвал, а мы и не выпытывали. Увидели, и хорошо! Помощниками к Дудину помыть золотой песочек что-то никто не напросился. Азарт искателей золота, так славно переданный Джеком Лондоном, ни к одному из нас не прикоснулся, он даже в воздухе не витал. До вечера еще далековато – чем заняться? Дудин нашел, чем. Забор у него покосился, и мы вкопали ему шесть столбиков взамен сгнивших, и еще поменяли ступеньки на крыльце. И три треснувших шиферных листа на крыше заменили. Он был премного благодарен.

За работой мы и не заметили, как к урочищу подкралась зловещая черная туча. Гром ударил, и потемнело сразу. Мы побежали к своим вещичкам. Перенесли одеяла и рюкзаки под орешину с кроной густой и широкой. Сели, изготовились смотреть и слушать. И ударило, и засверкало – фейерверк, кто понимает! Туча плыла над долиной совсем низко, и сверкало из нее так часто, словно это был пиратский корабль, который отбивался от целой эскадры флота Ее величества, королевы Великобритании. Забарабанило по листьям, по траве. И сразу полило как следует, с шумом, с клеткотом. Капли, которые падали на камни, рассыпались вдребезги. Но дождя вылилось немного. Туча причалила к горам, отделявшим нас от Ферганской долины, а потом перевалила на ту сторону. Крону нашей орешины гроза так и не пробила. Пористая почва быстро вобрала в себя влагу. Последние лучи солнца осветили тучу, и загорелась радуга. На радугу мы смотрели взволнованно, как на чудо природы. Рустам Муратов встал во весь рост и прочитал формулу радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны». Формула передавала очередность цвета в радуге: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Воздух стал свежим-свежим. Мы словно потрогали грозу своими руками. Хорошо, что мы не попали под нее на перевале. Это было бы все равно, что попасть под залп пиратского корабля.

Уха на обед и уха на ужин – мало не показалось. Мы элементарно переели. «Когда ешь от пуза, всегда так», - сказал Геннадий и вальяжно погладил себя по взбугрившемуся животу. Лицо у него было доброе и беспечное, как у ребенка, который привык, что ему все разрешают. Стало смеркаться, и мы запалили большой огонек. Дудин сидел среди нас и тихо чему-то радовался. О засаде на кабана речь больше не заходила. И что мы бы делали с таким большим куском мяса? Половину оставили Дудину? А он что бы делал со своей половиной?

Михаил спросил, случались ли здесь с туристами несчастные случаи.

- Только по их вине, - сказал метеоролог.

- А по вине местных жителей?

- Такого я не помню. Знаете, любители чужого добра сюда почему-то не заглядывают, им в городах привычнее, оттого и отношение к пришлому люду здесь теплое, приветливое. Туристы никого не обижают, они вежливы и обходительны, вот и их не трогают. Чем не пример для подражания в международной жизни?

Альберт перевел разговор в иное русло. Что здесь, на горных тропах, никто никого не обижает и не обездоливает, это прекрасно. Но почему в комсомоле так скучно? Вот, были мы пионерами, ходили строем и пели пионерские песни, носили красные галстуки, пока они не надоели. Вот, повзрослели, стали комсомольцами – а где для нас настоящее дело? Энергии в нас масса, и школа ее не поглощает. Вопрос был адресован старшим, и в первую очередь Михаилу Константиновичу.

- Я и согласен с тобой, и нет, - сказал Михаил. Покрутил в руках толстый сук и отправил в огонь. – Во-первых, все вы при деле – при учебе. И нагружать вас сверх этого дела, во всех отношениях не маленького, не резон. Потом, новые дела у вас появляются, только вы не зачисляете их в свой комсомольский актив. Ирина Александровна ввела диспуты – и прямо окрылила вас. Я думаю, и наш поход по Коксу и Чаткалу запомнится вам надолго. Хотите что-нибудь сюда добавить – думайте, дерзайте! Предлагайте! Буду только рад.

- Диспут и поход – это не наш вклад, это ваш учительский вклад, - возразил Альберт.

- Вы это приняли, стали участниками, то есть внесли свой вклад, - не согласился Михаил. – А то, что эти мероприятия инициированы не вами, не страшно. Вы узнали, как это делается, и в следующий раз сами станете закоперщиками.

- А в масштабах страны? Почему в масштабах страны у комсомола нет громкого дела, которое бы воодушевило миллионы, всех нас?

- Есть большие стройки на Волге, в Сибири. В будущем году начнется освоение целинных земель в Казахстане и на востоке страны. И у нас в Голодной степи. Опять же, участвуйте! Кончите школу – и вперед, кому дома не сидится.

- Я горожанин, - стоял на своем Альберт. – Какой из меня толк на целине? Я для себя определил, что врачом буду.

- Врач и на целине специалист первой необходимости, - сказал Михаил.

- Целина! – вмешался Юрий Третьяков. Это для меня, я пойду в сельскохозяйственный институт. Хочу жить на земле, при своем саде-огороде. Но я согласен с Альбертом, что комсомол – казенная организация.

Шуму много и гама много, но все это, как аплодисменты самому себе. Формализм! Мы, которые здесь, все комсомольцы, но это нас почему-то не согревает. И это не есть хорошо.

- А что есть хорошо? – с подвохом спросил Михаил. – Какое большое дело предложил бы комсомолу ты, каждый из вас? Думайте и докладывайте!

Молчание воцарилось у костра. Мы давали простор мысли, воображению.

- Мировая революция! – воскликнул Геннадий.

- Это разве твоя идея? Это идея Владимира Ильича Ленина. Но что ты будешь делать с этой идеей в тех странах, народы которых довольны своим положением и не хотят перемен? – спросил Михаил. – Эта идея уже витает над миром треть века, но где ей последовали? Только там, куда после войны пришли наши войска.

- И еще в Китае! – подсказал Шурик.

- Продвигать эту идею насильно, что мы сейчас делаем в Корее, себе дороже, - продолжал Михаил. – Мы спреждевременничали с идеей мировой революции. Другие страны и народы пока не готовы избрать социалистический путь развития. Мы их подталкиваем, а они не хотят, и это выливается в противоречия, в военное противостояние. Начинается гонка вооружений – а она нужна нам? Мы еще войну, которая за плечами, не переварили, в себя после нее не пришли.

- А пять миллионов коммунистов в Италии? А четыре миллиона коммунистов во Франции? – выпалил Альберт, подзуживая Михаила на новый экскурс в большую политику.

- Нам еще свою страну поднимать и поднимать, - сказал Михаил. – Чтобы пример показывать: вот чего мы достигли. Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, это элементарно. Удобства во дворе, колодец вместо водопровода, примус – это вчерашний день. Еще не подняты из пепла города, порушенные фашистами. Нам надо уйти от серости, от жизни впроголодь. Прежде всего, мы должны в своей стране, своему народу создать достойную жизнь. Это и будет лучший аргумент в пользу мировой революции! А когда у лозунга нет опоры, когда он не подкреплён достижениями той страны, которая его выдвинула, это, как вы знаете, простое сотрясение воздуха. Такие лозунги мало кого вдохновляют.

- Создадим достойную жизнь - это будет неопровержимый аргумент! – согласился Валентин. – Вдохновим другие страны и народы собственным примером!

- Еще есть предложения? – спросил Михаил. Ответом ему было молчание. – Видите, не так-то просто выдвинуть идею, которая стала бы чисто комсомольским большим делом.

- Поэтому в комсомоле так скучно, - стоял на своем Альберт. – В пионерах нам тоже было скучно, но это время быстро пролетело. Нам что-то сверху внушают, чего-то от нас требуют, но сами мы ничего не делаем. Это меня обижает. Должно быть в стране дело, за которое отвечал бы только комсомол. Не знаю, как вы, а я этого очень хочу.

- Станешь врачом, и тебе некогда будет оглядываться по сторонам, - сказал Шура Колокольцев. – Я тоже подамся в медицину. Пусть там конкурс, но я постараюсь. Плоха та пешка, которая не видит себя ферзем!

- Вот, мы станем взрослыми, вступим в партию и увидим, что там тоже скучно. Что тогда? – спросил Альберт. Эта тема его увлекала, и сильно.

- У нас правящая партия, а другой нет и не предвидится. В правящей партии не бывает скучно, думать там надо, работать надо, - сказал Михаил.

- В партии правят Политбюро, Генеральный секретарь, а рядовые члены партии при сем присутствуют, - сказал Альберт. – Они, как солдаты при генералах и маршалах.

- Михаил Константинович, а вы член партии? – спросил Юра Третьяков.

- К сожалению, нет. Партии, знаете, надо быть достойным.

- А то вы не достойны! – вместе воскликнули Альберт, Юра и Валентин. Слаженно у них получилось – все заулыбались.

- А кто из наших учителей член партии, если не секрет? – спросил Гена. Выяснилось, что ни Ребров, ни Гукова не коммунисты. Лучшие из лучших – и не в партии! Мы не были с этим согласны. Но наше мнение какой-либо роли здесь не играло.

- Кому в комсомоле скучно, можно подать заявление и выйти, - вдруг сказал Дудин, молчавший до этого момента. Диспут, несомненно, захватил и его, только он себе этих вопросов не задавал никогда, он был при деле, которое любил. – Так, мол, и так, не согласен жить без большого живого дела, возложенного на меня советским народом!

- Выйти – и навлечь на себя неприятности? – спросил Альберт. – Нет уж, в белые вороны мы не пойдем. Белых ворон никто не жалуется! Им говорят: уходите, вы недостойны быть в стае!

- Тогда терпите и ищите, чего уж! – сказал Дудин. – Я здесь на отшибе, сам на сам, но я в партии. И вот вам мое слово: выучитесь, получите профессии, нужные всем нам, станете работать, и работа захлестнет вас с головой. Утро – работа – вечер, утро – работа – вечер, дом и семья. И так до седых волос, до старческой немощи. Работа по призванию и станет самым большим делом для каждого из вас. И, конечно, семья, воспитание детей. Да вы не успеете оглянуться, а все уже за плечами, в дали несусветной! Вот с чем мне труднее всего согласиться.

- Это уж точно! – поддержал метеоролога Михаил. – Работа и есть созидание. Вы вошли в один мир, а через полвека он будет неузнаваемо другим. Вы сами удивитесь, насколько он изменится через полвека. А вам на рубеже тысячелетий будет всего-то по шестьдесят три годика!

- Мы славно растеклись мыслью по древу, а все равно в комсомоле скучно, - повторил свой довод Альберт. Ему этот упрек казался весомым, и мне – тоже. Только, в отличие от Альберта, голоса по этому поводу я не возвышал, мне почему-то не хотелось, чтобы комсомол претендовал на мое время и на мои руки.

1X

Дорога вниз, вдоль реки, по сравнительно широкой долине, которую скалы сдавливали не так уж часто, была одно удовольствие. Березы создавали тень почти постоянную, да и наши рюкзаки теперь были вдвое легче. Дудин пришел проститься с нами, и мы были тронуты его вниманием. Его тощая фигура с обращенным к нам лицом еще долго маячила за нашими спинами. А Михаил задал нам темп. Вперед и вперед! Неспешно вроде бы он вышагивал, размеренно. А мы чуть ли не бежали за ним. Но к тропе мы уже привыкли. Долина Чаткала была очень своеобразна. Здесь река проложила себе более широкое ущелье. Нас все время сопровождали леса, но не сумрачные, как вдоль Коксу, а светлые, пронизанные солнцем. Грецкий орех обильно рос в этих лесах, и тополь, и боярышник, и алыча. Тополь был величав и возвышался над всеми прочими обитателями здешних лесов. Но и тут преобладала береза. Было много галечниковых отмелей; выбеленные солнцем и высокой паводковой водой, они блестели. Серые осыпи левого берега, почти везде крутого, обрывались у самой воды. И то, что сползало в воду, ею же в паводок и уносилось. Щебень обкатывался и становился галечником.

Спустя час мы передохнули. Горбатый мостик был перекинут через Чаткал в очень узком месте – две скалы сжали реку до двадцатиметровой ширины. На той стороне в реку впадал широкий ручей и стояли хижинки под камышовыми крышами, построенные из камня, поднятого с осыпей. Камень для стен выбирался только плоский, одинакового размера. Хижинки были неказистые, прямо избушки на курьих ножках. Люди жили здесь из поколения в поколение и не помышляли спуститься на равнину, в поселки со школами, магазинами и прочими атрибутами цивилизации. Михаил сказал, что этот хуторок называется Ароб и что его основатели по происхождению арабы. Далеко же их занесло в поисках простого человеческого счастья. Наверное, это произошло во времена Арабского халифата. О, сколько великих переселений народов видел этот край! История, конечно же, зафиксировала далеко не каждое из них. А, может быть, и зафиксировала, но мы в это еще не вникли.

За кишлачком пейзаж поменялся, долина стала сужаться и вновь приняла форму ущелья, местами сумрачного, давящего. Горы стиснули Чаткал замшелыми серыми скалами. Обедали мы в лесу, под березами. Было жарко, и громко чирикали птицы. Мы нашли протоку и окунулись. Холодная вода сразу вытолкнула нас на берег. Да, многоводный Чирчик в эту пору и на подходе к Ташкенту студень-студень. Пик мы увидели правильной формы – по левую руку от нашего пути. Он очень походил на конус с лиловой вершиной. Даже мох не прилип к скалам, которые образовали вершину.

- Пик Шабрез! – объявил Михаил, заглянув в свою лоцию. – За ним в Чаткал впадает приток Акбулак. От Акбулака до Бурчмуллы двенадцать километров! В следующем году мы пойдем в путешествие по Акбулаку, выйдем на плато и спустимся по долине реки Ангрэн. Там есть озеро и горячие источники. Это путешествие будет посерьезнее нынешнего!

Мы шли и смотрели, как пик Шабрез поворачивается к нам другой своей стороной. Он был испещрен глубокими морщинами от вершины до подножий. Пасеку мы встретили, потом еще одну. Над ульями роились пчелы. Здесь пасечники жили в обыкновенных палатках, сродни армейским. Они всегда выходили нам навстречу – вслед за собаками, которые заливались пронзительным лаем. За чужими, считали они, нужен глаз да глаз, пока они рядом. И, раз жизнь убедила их в этом, не нам было их разубеждать. Банки меда Михаил здесь не купил, очевидно, боялся, что после этого денег не хватит на обратную дорогу.

Часам к пяти мы миновали Шабрез, а в шесть нам открылся Акбулак – белый большой приток, омывающий гору Чимган с севера. Его прозрачная вода не сразу смешивалась с серой водой Чаткала. А в семь мы расположились на ночлег в урочище Худайдот, в двух часах пути от Бурчмуллы. Мы втянулись и совсем не чувствовали усталости. Ручей чистый-чистый протекал здесь, и в изобилии рос урюк. Под заматерелой урючиной мы и разбили свой лагерь. Через час мы уже ужинали. Михаил не пожалел тушенки, все равно она оставалась. Мы набрали сухого урюку, упавшего на землю – для компота. Он был сладкий-сладкий.

Когда стемнело и мы сгруппировались у большого костра, Альберт от имени всех нас сказал Михаилу слова признательности: «Завтра к вечеру мы будем дома, а сегодня, среди вот этих гор, что справа и слева от нас, примите, Михаил Константинович, слова благодарности. Насколько я помню, в нашей школе еще никто не ходил в такие походы. Вы открыли нам новый мир, и он пришелся нам по нраву. Большое вам спасибо от всей нашей честной компании и от каждого поименно!» – Мы дружно заплодировали, поддерживая и одобряя каждое его слово. Потом мы пели. Плохо у нас получалось, неслаженно, но мы старались. Явных солистов среди нас не было. Только «Катюшу» мы спели почти как по нотам. Еще мы спели полухулиганскую песню «В Кейптаунском порту» (Альберт знал ее всю, а я помнил только два первых куплета), «Бьется в тесной печурке огонь», а точку

поставили после «Широка страна моя родная». Хотелось ли нам домой? И да, и нет. У меня, например, было ощущение, что мы возвращаемся слишком рано. Хотелось еще хотя бы несколько дней пожить среди этой удивительной красоты. Но мы уже пришли, куда надо.

На следующий день в десять часов мы были в Бурчмулле, в час дня – в Барраже, в шесть – в Ташкенте. И Валентин сказал по этому поводу, что все хорошее почему-то кончается очень быстро. Мы согласились с ним. Мы успели полюбить горную тропу, а она простилась с нами уж как-то обыденно просто. Гораздо быстрее она простилась с нами, чем нам того хотелось. Но я дал себе зарок, что буду встречаться с ней часто.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оглядываясь более чем через полвека, из года 2008, на год 1953 и на этот поход, я первым делом хочу отметить, что он пророс во мне стойкой, продолжительностью в жизнь, любовью к горам. Ни к теплым морям, ни в российские леса меня не тянуло так, как в наши горы. Я потом повторил этот маршрут, с друзьями и детьми или один, наверное, раз пятнадцать - двадцать. Раз восемь я поднялся по Акбулаку на Анргенское плато, нежился в каменной ванне, питаемой горячим источником, а на мои щеки опускались снежинки. И много раз ходил по Угаму. Это было лучшее времяпрепровождение, вожденная мечта унылых зимних вечеров. Повторяю: ни Кисловодск, ни Ялта с ее черноморской волной и близко не приносили мне такого удовлетворения.

Ступая вновь и вновь на горную тропу, я всегда с благодарностью вспоминал нашего физика Михаила Константиновича Прокофьева. Выпустив наш класс, он перешел преподавать в политехнический институт, и там получил несколько патентов на очень интересные изобретения. Я не знал, жив ли он; кто-то сказал, что он эмигрировал, обосновался в Штатах. Во всяком случае, на наши школьные встречи он не приходил уже давно. И давно не было в живых Ивана Васильевича Реброва. Но жила в далеком Харькове, на чужой теперь Украине, Ирина Александровна Гукова; мы поздравили ее с восьмидесятилетием (четыре года назад), и она ответила, что помнит всех нас и очень любит.

Альберт Аталиев сейчас известное в Ташкенте медицинское светило, хирург редких достоинств. Академик. Он по-прежнему распорядитель и тамада всех наших встреч (первую субботу мая мы по традиции встречаемся в школе; автор этой традиции – Аталиев). А инженер-механик Валентин Хадиков доживает свои дни в Подмоскowie. Рассеянный склероз высушил его память, и часто, выйдя из дома, он не знает, как в него вернуться, и добрые люди приводят его домой за ручку. Гимнастке Аде не суждено было стать его женой, но он недолго переживал по этому поводу. В том же классе училась другая девушка, Галина. Она быстро ответила ему взаимностью, и они жили душа в душу.

Я еще в порядке, что-то пишу и даже что-то из написанного публикую. Но моей женой стала другая женщина, не Людмила Ванина. Я тоже никогда не жалел и не переживал по этому поводу.

А теперь о самом печальном. Юрий Третьяков, Шура Колокольцев, Виктор Артамонов и Геннадий Козлов ушли из жизни. Первого мы проводили на кладбище Юру. Рак легких не оставил ему, курившему с третьего класса, никаких шансов. Он обнаружил, что болен, слишком поздно, когда опухоль поразила три четверти легких. Ему было всего 24 года, и он кончал сельскохозяйственный институт. Вторым мы похоронили Шурика; он только начал работать врачом. В его дворе вели газовую сварку; он что-то подкрутил в старом газовом генераторе, вода полилась на карбид кальция обильнее, чем надо, массивная чугунная крышка генератора резко поддалась вверх, а он как раз наклонился над аппаратом. И крышка размозжила ему голову. Ему было только 28. Третьим ушел Витенька, инженер-гидротехник. Он элементарно спился. Его лечили, но это было бесполезно. С водкой его было уже не разлучить, он не просыхал двадцать лет – и не дотянул до сорока. Четвертым мы потеряли Гену Козлова, инженера-землеустроителя, спроектировавшего все рисовые совхозы Каракалпакии. Его убили в независимой уже России, где он искал пристанище для себя и своей семьи. Он нашел его, вместе с хорошей работой (за взятку, правда; таковы времена), но квартиру пришлось ждать, и это ожидание плохо для него кончилось. Точнее, оно кончилось бытовой ссорой в коммунальной квартире, ударом гантелью по голове и травмой черепа, несовместимой с жизнью. А Рустам Муратов был жив, но не совсем здоров, ноги плохо ему повиновались. И на последнюю встречу выпускников он не пришел, вот беда. А мы не догадались послать за ним машину.

Мне было очень жалко ребят-однокашников, которых не стало. Но еще больше мне было жалко, что не стало большой страны. Что народы, некогда составлявшие Союз, который заявлял о себе, что он единый, могучий и нерушимый, не посчитались с его нерушимостью, разбежались по своим национальным квартирам, не просчитав, что минусов в таком размежевании гораздо больше, чем плюсов, и что делать этого не следует. Потом они горько пожалели о содеянном, но уже поздно было что-либо менять и переиначивать. Главное, Россия, как бывший цементирующий фактор единения, не выражала большого желания снова таким фактором становиться. Другие заботы были у нее – русских на ее просторах становилось все меньше и меньше, некогда великая страна так сильно надорвалась, строя эфемерное коммунистическое общество, что давно перестала себя воспроизводить. Но теперь все заработанные ею деньги она могла тратить только на себя, и ей это нравилось.

Даже в горы, так мною любимые, я уже не мог пойти запросто, как в советские времена - они находились в другом государстве, в суверенном Кыргызстане, и требовалась виза, чтобы пересечь его границы. Дорвавшись

до власти, чиновники издевались над нами, рядовыми гражданами, как хотели, и выставляемым им препонам и запретам не было числа. За перешагивание через каждую такую препопу приходилось платить, вот ведь в чем дело. Так что я смотрел на пики Тянь-Шаня со своей дачи под Газалкентом. Они были совершенно такие же, как и в дни моей молодости, но чужие и недоступные. И я мог сколько угодно костерить наших чиновников за их запреты, - это ничего не меняло.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЕТО 1954 ГОДА. ВЕЛИКА ТЫ, РОССИЯ-МАТУШКА!

1

После окончания девятого класса отец решил сделать мне и Ольге подарок. Подарок был не совсем обычный – поездка на два месяца в Москву и Ленинград и в какое-нибудь южнорусское село на берегу теплой реки. Чтобы мы впитали в себя русское солнце и русский дух. Тетя Юля, которая жила во Львове, но часто навещала дочь в Курске, очень нахваливала село Теткино и реку Сейм, где она с мужем Борисом Георгиевичем отдыхала уже не раз. Теткино, так Теткино – название-то какое милое! «А как же горы?» – заикнулся было я. Близился срок, когда Михаил Константинович поведет нас по Акбулаку и дальше, по Ангренскому плато. Но отец посмотрел на меня с такой укоризной, что про горы я больше не вел разговора. Нам предлагался выезд в большой свет, а я еще вякал что-то неподобающее про горы, которые никуда от меня не уйдут.

Нас, таких зеленых, будет сопровождать тетя Саша. Она заслужила повидать сестер Юлию и Екатерину и брата Алоиза. Все пятеро бабушкиных дочерей были живы, а из четырех сыновей жив был один дядя Алоиз, бездетный хирург. Остальные сгинули по причинам, о которых мать и тетя Саша предпочитали не распространяться. Но возникла Муся, вторая моя тетя, жившая с нами. «Возьмите Юру, с вами должен поехать Юра!» Юра был ее сын, и рос он без отца. Ему было всего девять лет, но Муся уперлась и настаивала: возьмите и возьмите, жизнь и так обездолила Юрочку, не обездоливайте его еще раз! Настоять на своем Муся умела куда лучше матери и тети Саши, взятых вместе. Забегая вперед, скажу, что Юра в тягость нам не был, но путешествие в Россию не отложилось в его памяти чем-то большим и знаменательным. По-другому в его нежном возрасте и не могло произойти. Так что если бы мы не взяли его с собой, он бы никогда не переживал по этому поводу.

Скрепив сердце (семейные раздоры ему были невыносимы), отец согласился. И так, ехать нам предстояло вчетвером. Оставалось купить билеты и упаковать чемоданы. Сборы не были долгими. Два чемодана средних размеров и рюкзак были заполнены одеждой, дорожной снедью и подарками родне – теми подсказанными душой знаками внимания, которые бывают так приятны. Подарки не тянули на изысканные: курага, орехи, несколько стопок пиал с узбекским национальным орнаментом, несколько статуэток из обожженной глины, изображающих узбеков в национальных полосатых халатах и тюбетейках. Местный колорит был схвачен и запечатлен, этого мои родители посчитали достаточно. Отец купил билеты на московский поезд. А далее были проводы, была вокзальная толчея с традиционными словами напутствия. Мы прошли в плацкартный вагон, в середине которого нам предназначались четыре полки. Паровоз дал прощальный гудок, и застучали колеса. Стучать им, в нашем присутствии, было три дня и три ночи.

11

Я никогда не ехал в поезде так долго. В прошлом году на пригородном поезде я ездил в Барраж, но это всего полтора часа. Теперь же нам предстояло ехать трое долгих суток. Тетя Саша опекала нас, как утка опекает свой выводок. Особенно она опекала Юру, чтобы он далеко не совал свой любопытный нос. У нас было как бы свое купе, только не отгороженное. Мы развернули на полках матрацы, нам принесли постельное белье и одеяла. Зачем одеяло в такую жару? «В России будет попрохладнее», - предупредила тетя Саша. Она все знала.

И потекли неспешные дорожные часы. Конечно, сначала мы приклеились к своему окошку. Столик был под окном, непривычно маленький. На нем вскоре появились стаканы с чаем. Их принесла нам проводница, женщина почтенных лет в железнодорожной форме. Я учился в железнодорожной школе и видел такую форму на отцах некоторых наших учеников. Ташкент кончился быстро, и пригородные поля и сады промелькнули быстро. Холмы потянулись, покрытые выгоревшей на солнце травой. Это уже был Казахстан – унылая и очень протяженная равнинная страна, где много песка, Аральское море, вбирающее в себя Амударью и Сырдарью, но мало людей. Белую юрту мы увидели вдалеке, а возле нее табун лошадей. И верблюдов увидели – на одном из них восседал человек. Верблюды, естественно, никуда не торопились, им не было свойственно торопиться.

И кладбище увидели, не похожее на наше, – над могилами стояли белые домики-склепы. Оно совсем не походило ни на русские кладбища, ни на узбекские. Останавливался поезд редко. Первая остановка была в Чимкенте, вторая – на станции Арысь. Потом был город Кызыл-Орда; рядом с ним протекала река Сырдарья.

Потом стемнело, и мы легли на свои полки, Оля и я – на верхние, Юра и тетя Саша – на нижние. Кто были наши попутчики? Самый разноплеменный люд, в основном русскоязычный. Кто-то ехал проведать родню, приятно провести отпуск, кто-то – по своим делам, чаще всего торговым, кто-то менял место жительства, твердо помня о том, что лучше всего там, где ему еще не удалось побывать.

Приходило время обеда, и каждый доставал свою снедь, завернутую в промасленную бумагу, в белые чистые тряпочки. А проводница обносила всех чаем. В вагон-ресторан наши попутчики навевались редко. Смотреть в окно нам скоро надоело: степь да степь кругом, желтая, унылая, с редкими вкраплениями живности в виде отар и табунов. Вдали степь сливалась с белесым небом. Линия горизонта не была четкой. На многих станциях стояло по четыре – пять жалких домиков – жалких, потому что при домах не росли деревья. На таких станциях мы даже не останавливались. Встречные поезда проносились с грохотом, как ураган. Уууу! Уууу! И нет уже встречного поезда, промчался, обдал гулом и исчез. Можно было только разглядеть, пассажирский он или товарный. А что стоит на платформах, увидеть было нельзя, так стремительно неслись вагоны. Одно мелькание и грохот, и сразу – ничего.

Когда надоело смотреть в окно на степь бесконечную, я стал читать Достоевского. Я очень любил этого писателя. В школьной программе он отсутствовал, его роман «Бесы» был признан крайне реакционным. Я прочитал этот роман зимой (дореволюционное издание с ятями и прочими прелестями тогдашней орфографии) и согласился, что он реакционный; его направленность против социалистов была очень выпуклая. Все революционеры были выведены в нем людьми алчными, недалекими, совершенно непрозорливыми, но яростно рвущимися к власти, готовыми через родную мать переступить, но взять власть в свои руки и переиначить мир по своему усмотрению. Их идея в том и заключалась, чтобы переиначить мир, наказать богатых и помочь бедным, а дальше хоть трава не расти. Надо было очень не жаловать революционеров, чтобы вывести их такими несимпатичными. Да, Достоевский не жаловал социалистов, и за это советская власть не жаловала Достоевского и исключила его из школьных учебников по литературе. Что ж, она могла себе позволить и не такое.

Но в других книгах великого Федора не было революционеров, и они нравились мне пронзительной открытостью характеров и поступками дерзкими, совершенно не меркантильными, совершаемыми только по велению сердца. Все герои Достоевского – люди с изюминкой и с надломом. Они сначала поступали, потом оценивали свои поступки и часто осуждали себя за них, но следующие их поступки от этого не становились просчитаннее, умнее. Ярko пылали их глаза – в них горело синее пламя непредсказуемости и страсти. Но еще больше в этом синем пламени было стремления к справедливости. Ирина Александровна сказала нам много добрых слов о Достоевском и тем самым подогрела к нему интерес. А как только была раскрыта и проглочена первая его книга, подогреть к нему интерес уже не было нужды, он произрастал из прочитанного. Я потянулся к Достоевскому, как прежде не тянулся ни к одному классику.

Однажды тетя Саша стала рассказывать про гражданскую войну. Она встретила ее в городе Мариуполе, который позже стал называться город Жданов (теперь он снова обрел прежнее название). Там прежде проживало много немцев, их в свое время пригласила на Украину, только что освобожденную от турков и никем не заселенную, императрица Екатерина Великая. Все выдающиеся советские партийные и государственные деятели были увековечены в названиях городов, улиц и предприятий – так появился на свете город Жданов. Сам же Жданов по не выявленным до сих пор причинам так и не стал преемником Сталина – не дождался своего часа. Тетя Саша до сих пор заплетала свои волосы, давно уже белесые и истонченные, в две косы, которые укладывала на голове венчиком, и я подумал, что сорок лет назад она была очень красива. В гражданскую войну она видела отряды белых и красных, и батки Махно, и кого-то еще, то ли зеленых, то ли желтых. Все они приходили, убивали и грабили. Наживались на безвластии. Однажды махновцам не понравился дядя тети Саши, и они вывели его вот двор и поставили к стенке.

- И тут, - рассказывала тетя, - выбежала Леночка, ваша мать, ей тогда было лет семь-восемь, и с криком: «Не убивайте моего дядю, он хороший!» – заслонила его, широко распластав свои тонкие ручонки. Дядю не расстреляли. Еще тетя рассказала про своего брата Константина (бабушка о нем почему-то ни разу не упомянула). Он учился в медицинском институте на третьем курсе. Пришли белые и мобилизовали его, он стал служить у них фельдшером. Белых разбили и прогнали, Константин вернулся домой, живой и невредимый – на радость своим родителям Якову Ивановичу и Марии Мартыновне. Война кончилась. Но была отдана команда всем бывшим белым зарегистрироваться. Косте зашептали на ушко: не ходи, не регистрируйся, спрячься, пересиди! Но он, человек дисциплинированный и законопослушный, пошел и зарегистрировался. И всех, кто зарегистрировался, собрали воедино, вывели в чистое поле и расстреляли.

- Не может быть! – воскликнул я. Тетя только пожала плечами. Мол, этот факт позже широкой огласке не предавался. В тридцатые годы, когда она работала учительницей на Украине, там сразу после коллективизации случился страшный голод, вскоре перешедший во всеобщий мор. У колхозов еще ничего не получалось, крестьяне не желали в них работать, а хлеб с них требовали по полной программе. Весной поумирали все ее лучшие ученики. Она так горевала! А чем можешь? У нее у самой живот прилипал к позвоночнику. Ее спасло то, что она уехала к матери в Симферополь. Два месяца она приходила в себя. Я ничего не слышал об этом голоде. О голоде в Поволжье сразу после гражданской войны я знал. И марки были в коллекции отца:

изможденный мужчина с огромной бородой демонстрирует свою дистрофическую худобу, а фигуру пересекает надпись: «Поможем голодающим Поволжья!» Значит, тот голод списали на превратности гражданской войны, а про голод после коллективизации умолчали, ведь не вешать его на Сталина.

Тетя вспомнила, что американцы прислали голодающим на Украине порошок какао, но никто не знал, что это такое. И этот порошок развели в ведрах и покрасили им цоколи. А потом удивлялись, что это за нестойкая краска, первый же дождь смывает ее начисто! Оказывается, память тети хранила много такого, о чем нам никогда не рассказывали на уроках истории. Я потом сидел и думал, отложив в сторону роман Достоевского «Идиот»: «Так за что же расстреляли моего дядю, студента-медика Константина? – спрашивал я себя. – Он не стрелял в красных, он был санитаром, он лечил. За то лишь, что он был с белыми и лечил белых? Он был почти готовый врач, он бы лечил советских людей, как дядя Алоиз. В войну он бы лечил раненых, от него была бы большая польза». Когда его, студента, расстреляли, от него не было красным никакой опасности. Он не представлял для советской власти никакой опасности, он готов был сотрудничать с нею, но его взяли и расстреляли. Получалось, что жизнь человека в те времена никакой ценности из себя не представляла. Значит, революционеры ликвидировали всех и каждого, в ком подозревали несогласного.

Я думал об этом, а колеса стучали неумолчно, телеграфные столбы мелькали, и только степь за окном была, как огромная простыня, одинаковая на тысячи километров. Утром, когда мы проснулись, вокруг снова был Казахстан. В облике степи ничего не поменялось. Мимо Аральского моря мы проехали ночью. Днем тетя опять рассказывала о себе. В годы войны она с мужем Василием Васильевичем Пахно, тоже учителем, осталась под немцами – на Украине. Я так и не понял, то ли они не успели эвакуироваться, то ли не захотели. Немцы их особенно не притесняли, но перед приходом красных вывезли из Мариуполя в Николаев на пароходе. И тут они натерпелись страха. Плыть по морю, нафаршированному минами, было ужасно. Их заперли в трюме. Бомба ли попадет, мина ли разворотит корпус судна – из трюма не выберешься. Потом, когда их освободили, у Василия Васильевича были большие неприятности. Тетя сообщала об этом бесстрастно, как о давно пережитом. Почему не эвакуировался, почему сидел под немцами и бездействовал, не пошел в партизаны? Не потому ли, что жена – немка? Его исключили из партии и выслали в Среднюю Азию (хорошо еще, что не упрятали в лагерь). Так тетя оказалась в одном из хлопкосеющих совхозов Ташкентской области.

Василий Васильевич всегда тянулся к спиртному, а тут стал пить еще больше, сердце начало сдавать, и вскоре он умер. Незадолго до смерти он пришел на прием к медицинскому светилу. И светило откровенно сказало ему, что впереди у него не более одного года жизненного пространства, и то при условии, если он бросит пить и курить. Дядя Вася ничего этого не бросил, он не привык наступать себе на горло, и вскоре тетя его похоронила. Что было дальше, я знал, – отец и мать пригласили тетю жить с нами.

Одно лето мы с Ольгой провели в тетиним совхозе – после шестого класса. Поливали и охраняли тетин огород, жили там в шалаше, ели помидоры и арбузы, досыта купались в близком канале, где вода была, как парное молоко. В совхозе был большой парк с летним кинотеатром и пивной. В кино мы ходили изредка, а пивную Василий Васильевич навещал каждый вечер и проводил там не один час. Иногда я сопровождал его. Он всегда что-то рассказывал, но я не запомнил ни одного эпизода. Значит, то, о чем он рассказывал, не находило во мне созвучного отклика. Не впечатляло.

Еще тетя Саша рассказала нам о брате Сигизмунде. Как и она, он был учителем. В войну с нами жил его сын Александр, ровесник Ольги. Мать нас всех троих водила в детский сад. Оказывается, в самом начале войны Сигизмунд сказал что-то нехорошее о товарище Сталине, который обещал народу победить любого врага малой кровью и на его территории, а допустил позорное отступление до Москвы и Ленинграда. Отступление, похожее на бегство. Его арестовали, как хулигана советской действительности, прекрасной во всех отношениях, и через год он умер в одном из северных лагерей, которые занимались лесозаготовками. «Сболтнул лишнее, и не стало человека», – сказала тетя, смотря мимо меня, в свое прошлое.

Неужели так и было? Или вина дяди Сигизмунда заключалась не только в неосторожно оброненном слове? Вечером мы проехали Оренбург, и начались обжитые российские просторы с пшеничными полями, березовыми и сосновыми лесами, с селами, деревянные избы в которых были крыты камышом и тесом. Неказисто и неопрятно выглядели эти села; чувствовалось, что их жителям все время приходится напрягаться и перерабатывать. Напряжение в войну, когда весь труд в колхозах лег на женские плечи – вещь понятная, а в мирное время? Я почему-то полагал, что Россия живет лучше, пристойнее, ведь она цементирует Союз и все социалистическое содружество. Неужели она цементирует их за счет своих жизненных соков, и только?

На следующий день мы проехали Куйбышев и Волгу. Прежде у Куйбышева было другое название – Самара. По великой русской реке пароход тянул две баржи, они плыли вперед едва заметно. Волга нам понравилась; величавая это была река. Я подумал, смог ли бы переплыть ее. Наверное, смог – если вода теплая. А если нет? Заплывов длиной в два километра я еще не совершал и в холодной воде столько времени не продержался бы.

А Юра сновал с верхней полки на нижнюю, как юла неумная – туда-сюда, сюда-туда. Раз сто переместился. Наверное, замкнутое пространство его угнетало. Худой он был и легкий на подъем. Он родился осенью победного 1945 года от главного инженера стекольного завода, на котором Муся работала инженером-

технологом (это я случайно подслушал, когда мать отвечала на вопрос отца, кто отец Юры). Главный инженер, пожилой еврей, был женатым человеком и не собирался разводиться. Точнее, Юра родился не один, Муся родила близнецов, но второй ребенок оказался чрезвычайно слабым и умер через несколько часов. Муся не успела взять его на руки и поднести к груди, и потому его смерть сильно по ней не ударила. Может быть, она сумела убедить себя, что родила не двоих, а одного ребенка, и про второго не думала никогда. Так ей было легче.

Муся приехала к нам вместе с бабушкой Марией Мартыновной в первый год войны, осенью. Она гостила у матери в Симферополе и в свой Ленинград не вернулась, наверное, туда уже и нельзя было вернуться, а поехала прямо к нам – подальше от накалывающегося вала войны. Встреть она войну в Ленинграде, она лежала бы сейчас на Пискаревском кладбище. Она и ее мать, старуха Мария Мартыновна, ровесница Владимира Ильича, две немки, спаслись от немцев бегством. Бабушке, наверное, было все равно, где оставаться, но душой она тянулась к своим деткам, а Мусе не все равно, патриотизм в ней был заквашен крепко. Мусе потом не раз говорили: «Чего ты сюда прикатила, следи тут за тобой!» На этот грубый упрек она отвечала тоже язвительно: «Так радуйтесь, что я на нашу победу работаю, а не на Гитлера, и в пример меня ставьте!» У нее был необыкновенно вздорный, взрывной характер, она скандалила по поводу и без повода (наверное, поэтому и осталась одна), и тогда в доме дым стоял коромыслом. Отцу это в конце концов надоело, и года два назад он добился ее отселения. Мать потом призналась, что не родила еще одного ребенка только потому, что у нас жили Муся и Юра и негде было повернуться. О, напрасно, напрасно она не сделала этого! Где крутилось восемь человек, там о девятого, совсем крошку, никто бы и не споткнулся!

А Муся была глубоко несчастным человеком. До войны ей, женщине видной, делали предложения, и мать не понимала, почему она отказывала решительно всем. Но она была зациклена на том, что брак – это узаконенный разврат, и никому не дано было переубедить ее, что это совсем не так, что мужчине и женщине самой природой положено жить в союзе друг с другом, рожать и воспитывать детей. Когда же она излечилась от этой надуманной догмы, предпринимать что-либо по части семейной жизни было поздно, поезд ушел. Да и война выкосила мужчин ее возраста почти подчистую и не оставила ей никакого выбора.

Но я считал, что тетя Саша еще несчастнее Муси. Светлого на ее долю выпало совсем ничего, в одну пригоршню уместить можно. А счастья выпало и того меньше. За Василия Васильевича она вышла замуж не по любви, и своих детей у нее не было. Юноша, которого она любила и за которого готова была пойти хоть на край света, умер в гражданскую войну от сыпного тифа. По ее словам выходило, что до отечественной войны жилось не так уж хорошо, а отдельные годы были провально голодные. Нас же учили, что довоенные годы были заполнены созиданием и достижениями, делающими честь социализму (коллективизация, индустриализация, спасение челюскинцев, покорение северного полюса, помощь республиканской Испании, перелет в Америку и так далее, так далее). И факты, приводимые тетей, вступали в противоречие с тем, чему нас учили, поэтому я с ней не соглашался. Но про себя не соглашался, не вслух, ведь она тоже учительствовала в свое время.

Но однажды отец мимоходом вспомнил про митинг в его землеустроительном институте – на третьем году учебы (значит, событие происходило в 1935 году). Чему же был посвящен митинг с десятком благодарственных речей в адрес коммунистической партии и советского правительства? Первому за годы учебы отцу борщу с мясом, сваренному в студенческой столовой. То есть, все три предыдущих года борщи и прочие блюда готовились без мяса, его просто не было. Нам же эти годы подавались, как непрерывная череда достижений, которыми положено гордиться и гордиться. Эти слова отца я запомнил, их было с чем сопоставить.

Я уже мог кое-что сопоставлять, и я подумал: «Вот, у бабушки было девять детей, а у ее девяти детей своих детей только десять. Не восемнадцать, что нужно для простого воспроизводства населения, а только десять. У бабушки по отцовской линии Олимпиады Ивановны, которая умерла от дизентерии в 1919 году, было шесть детей, а у ее шести детей своих детей только четверо. Не свидетельствуют ли эти факты о том, что годы перехода страны на социалистические рельсы развития были грозowymi и костоломными? Что народ надорвался и перестал воспроизводить себя?»

С тетей Сашей после ее переезда к нам у меня не сложились отношения любви и приязни. Она стремилась опекать меня, а мне это было не надо, уроки я привык готовить сам и отца с матерью по поводу трудных задачек никогда не беспокоил. Мне было лучше прийти в класс с нерешенной задачей, чем просить помощи у родителей. Двор и улица привлекали меня куда больше, чем пианино, на котором в шестом классе родители обязали меня учиться играть. Год еще из-под палки я поиграл на пианино, а потом забастовал и бросил, как отрезал. Не хочу, не буду, и точка – мне это не надо, отойдите от меня со своим пианино!

А Ольга училась музыке до сих пор, но я не завидовал ее усидчивости нисколько. Пианисткой стать она не собиралась, времени же на сидение за инструментом тратила слишком много. От себя отрывала, от книг и от подруг – во имя чего? Не раз я спрашивал себя: и зачем отец привез с войны это пианино? Этот символ буржуазного благополучия? Ставь пластинку и слушай пианиста, до уровня которого ты никогда не поднимешься, хоть до конца дней своих тренируйся на ненавистном фортепьясе. Я, однако, видел, что тетя Саша несчастна и что в груди у нее пустота. Что это данность, от которой не денешься никуда. Но сказать ей добрые слова не догадывался, а, может быть, и не умел.

А российские просторы все летели и летели нам навстречу. Впервые я видел, как тесно стоят сосны в лесу, какая это красота – сосновый бор, мрачный и величавый, понизу просторный, как парк. Городки мелькали, кирпичные заводские корпуса. Ночь еще мы проспали на шатких полках, а утром поезд вкатился под своды Казанского вокзала. Ура! Здравствуй, Москва!

Тетя Катя и ее дочь Ирина встречали нас. Тетя Катя, пожалуй, была самая красивая из сестер. Не трудно было представить себе, какой она была раньше. Тетя Юля, скорее всего, со мной не согласилась бы, но это было ее дело. Обнялись, расцеловались. Ира кончила в этом году школу и собиралась поступать, по настоянию отца Александра Сергеевича Скобелева, в Менделеевский институт химических технологий, который в свое время кончила Муся. Я бы назвал ее красивой девушкой. Смотреть на нее было приятно, а улыбалась она просто замечательно. Угадывалась глубина и романтичность ее души

Было очень людно, и мы держались за руки, чтобы не потеряться. Вышли на привокзальную площадь. Сразу три вокзала рядом, надо же! Это сколько же народу каждый день сюда жалуется в поездах дальних и ближних! Но не успели мы оглядеться, как надо было спускаться под землю, в метро. Подтолкнули на эскалатор Юру, обалденно смотревшего на это чудо техники, встали сами, тоже слегка обалдевшие – ура, метро! - и заскользили вниз по лестнице, которая едет сама. Если бы такая лестница привела нас к скатерти-самобранке, мы бы не возражали. Как глубоко проложены туннели! Станции – вот это да! Дворцы, а не станции. Жжих, и мы в поезде. На станции Павелецкой пересадка, до станции Автозаводская. Выбираемся наверх, где светит солнце, а там совсем другая Москва – Москва, в которой живут. Кирпичные дома в пять, в девять и двенадцать этажей, а на тротуарах и в магазинах человеческий муравейник. Сколько народу, и ведь у каждого свое дело. И ничего, притерся люд, никто друг другу не мешает. Или это обманчивое впечатление, что никто друг другу не мешает? Нет, правда, люди привыкали к толчее и притирались друг к другу.

Тетю Катю я уже видел, она приезжала к нам два года назад, а Ирочку не видел. Она очень непосредственна и открыта начинающейся взрослой жизнью. Она покажет нам Красную площадь, и улицу Горького, поведет в Третьяковскую галерею. Так ведь ей надо готовиться к вступительным экзаменам! Зачем, она, слава Богу, медалистка, и лето у нее свободное. Она потом приедет к нам в Теткино! Дом тети Кати стоял в глубине квартала, подальше от шума городского. Лифт вознес нас на седьмой этаж.

Александр Сергеевич отворил нам дверь и громко приветствовал. Из всей нашей родни это, наверное, был самый именитый человек (полагаю, что Борис Георгиевич, муж тети Юли и доктор медицинских наук, решительно бы против этого мнения протестовал), но вся его слава была вчерашняя и новыми достижениями не подкреплялась. Это был высокий плечистый мужчина с повадками человека, распоряжения которого принято выполнять, но не обсуждать. В революцию экспансивный юноша Скобелев участвовал в штурме Кремля, который обороняли юнкера; юнкеров, после того как они сложили оружие и сдались на милость победителей, поставили к стенке (кремлевской, наверное) и пустили в расход (точно также, как три года спустя пустили в расход моего дядю Константина). Потом Александр Сергеевич учился в промышленной академии вместе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. В годы войны отечественной руководил огромным пороховым заводом в Красноярске. Там под его началом работало почти тридцать тысяч человек. Потом его руководящая работа почему-то прервалась, сменилась работой обыкновенной, на средней чиновничьей должности в проектно-институте, и достаток ушел из его семьи, из-за его пристрастия к коньяку. Скобелевы вчетвером жили в двух комнатах. Мы тоже жили в двух комнатах, но шестером, а совсем недавно – восьмером.

Ну, сели за стол, охи, ахи пошли, вопросы и ответы, время словно остановилось. Старший сын Скобелевых Владимир отсутствовал, у него была студенческая практика за тридевять земель от дома. И Александр Сергеевич, и тетя Катя возлагали на Володю особые надежды. Он познавал радиодело и электронику, а как раз эти области науки сегодня определяли технический прогресс. Высокий и статный, Володя был полноценный продолжатель рода Скобелевых (на это тоже возлагались особые надежды). Я подумал, что обстановка в доме могла быть и побогаче. Но пролетарий Скобелев не думал про черный день и ничего на него не отложил. А тетя Катя если и работала, то медицинской сестрой, и ее зарплата никогда не была большой. Александр Сергеевич был страстный почитатель коньячка, что, конечно же, сказывалось на достатке семьи.

- Сегодня – Красная площадь! – объявила нам тетя Катя. Нашим гидом вызвалась быть Ира. В город мы поехали без тети Саши, она осталась отдохнуть от дальней дороги и пошептаться с сестрой. Далекие пешие прогулки ей давались тяжело, давящие своды метро угнетали. У Александра Сергеевича, который давно пенсионерничал, были какие-то свои дела, и он, сопроводив нас до метро, простился с нами до вечера. «Не перегружайся!» – напутствовала отца Ирочка. Я подумал, что она имеет в виду работу, но она, как вскоре мы уяснили себе, имела в виду спиртное.

На Красную площадь и к кремлевским кремновым стенам мы вышли по улице Горького. Таких высоких и красивых домов в Ташкенте не строили. В Ташкенте было одно изысканное здание – театр оперы и балета имени Алишера Навои, творение академика архитектуры Щусева. А в Москве я поворачивал голову налево и направо на

каждом шагу. Кремлевский ансамбль был самым величественным сооружением, которое я видел когда-либо. При нас часы на Спасской башне отбили полдень. Звон был мягкий, но стелющийся, всепроникающий, облагораживающий. Красный кирпич впечатлял – он как бы согревал душу. Собор Василия Блаженного поражал витийством куполов; ни одна его башня не повторяла другую. Как вобрать в себя всю эту красоту, как запомнить? Это, как прошлогодний поход в горы – запоминается вся горная страна, но не каждая вершина и не каждое ущелье и роща по отдельности.

При нас сменился почетный караул у Мавзолея. В Мавзолее посетителей не пускали, иначе уже выстроилась бы очередь на всю площадь. Ира давала пояснения; роль гида ей нравилась. Но оттенка высокомерия (она – москвичка, а мы – родня из какой-то Средней Азии) на красивом ее личике я не обнаружил. Она перед нами не задавалась. Она не то чтобы не была высокого мнения о своей особе, – это ее не интересовало. Какая брусчатка! «Это базальт, специальное литье», – поясняет Ира. Здесь проходят парады и демонстрации, и здесь состоялся самый знаменитый из всех парадов – парад Победы, когда к ногам Сталина были брошены знамена поверженного рейха. Боже мой, как мы тогда радовались, как торжествовали! Мы настояли на своем. И мы не думали тогда, как дорого обошлась нам эта победа.

Я вспомнил салют победы в мае 1945 года – на все ташкентское небо; люди смотрели на заполнившие небо разноцветные огни, целовали друг друга и плакали. Слез не стеснялся ни стар, ни млад. Ибо нечеловеческих сил, нечеловеческого напряжения стоила нашей стране победа. Это был самый яркий праздник из всех наших праздников. Таким он и остался.

Налюбовавшись Красной площадью, мы обошли Кремль по периметру. Постояли у Москвы-реки и в Александровском парке. Река была стального цвета и не очень чистая. В какую сторону текла вода, я так и не понял. Она текла очень медленно. Река поворачивала, за ней опять громоздились дома. Я смотрел на Кремль и думал о нем, как о средоточии верховной власти. Кремль олицетворял державность и власть. Сейчас страной правили Маленков и Хрущев. А Сталин правил страной один, и таких, кто стоял бы с ним вровень, в правительстве не было. Далеко, страшно далеко простирала Москва свое влияние. Но партизан Тито не захотел, чтобы им командовал Сталин – и сразу стал плохим, отступником и изменником, приспешником господ-империалистов. И плохой стала Югославия, избравшая себе дорогу, не параллельную с нашей. Кто был с нами, а теперь не с нами – те отступники и ревизионисты, перебежчики в лагерь империалистов. Они не нравились нам еще больше, чем сами господа империалисты.

Здесь выработывались планы преобразования мира на социалистических началах, здесь денно и ночью думали о том, как уменьшить в мире влияние Америки и увеличить свое. Здесь созревали далеко идущие планы, а советский народ выполнял их, и жизнь становилась лучше. Больше всех вопросов Ирине задавал Юра. Его интересовала и высота кремлевских стен, и сколько в Кремле башен, и для чего поверх стен установлены зубцы, и что за дворец стоит за кремлевскими стенами, что за купола там поднимаются. Чтобы Юра уgomонился, Ира предложила ему самому сосчитать башни.

Когда мы снова вышли на улицу Горького, Ира угостила нас мороженым. Мы сидели под парусиновым тентом и ели мороженое, поданное нам на блюдечках. Ольга спросила: «А где тут у вас Большой театр? Ты часто ходишь на спектакли?» Ира сказала, что в Большой театр попасть трудно, что до него отсюда недалеко, и мы прошли к нему. Посмотрели. Я с гордостью сказал, что наш театр красивее. Ира загадочно улыбнулась, давая понять, что внешность – это одно, а внутреннее содержание всегда есть и будет на первом месте. Большой театр знаменит, конечно, не своими стенами, но своей сценой. Его труппа вбирала в себя все лучшее из советского артистического мира, и поэтому какой-то ташкентский театр не мог быть ему конкурентом.

- Ира, а у тебя много подруг? – еще спросила Оля. Интересный задала вопрос – я бы про это не спросил.

- Мало, - призналась девушка и потускнела. – Настоящих только две.

У меня тоже было два настоящих друга – и все. Но я не считал, что этого мало. После мороженого мы поехали домой. Обед ждал нас; его можно было назвать и ранним ужином. Александр Сергеевич приехал поздно и ужинал в гордом одиночестве. Спать мы легли на полу, и это было куда лучше, чем спать на шаткой вагонной полке. Когда я проснулся, было совсем светло. В Третьяковскую галерею мы поехали вшестером, с тетей Катей и тетей Сашей. Здание галереи было сложено из такого же красного камня, что и стены Кремля. Очевидно, красной глины в окрестностях Москвы было не так уж мало.

Иконы и вся древнерусская живопись меня не привлекли, в них было что-то нарочито-религиозное, равноценное мольбе об отпущении грехов, когда сами грехи не кажутся большими. Зато понравились художники, давно и широко известные – Брюллов, Кипренский, Крамской, Куинджи, Врубель, Суриков, Левитан, Серов, Коровин, Айвазовский, Репин, Шишкин, Васнецов, Малявин, Коровин, Рерих. Заново открывалось то, что мы знали по репродукциям. У некоторых картин мы стояли подолгу, все не могли наглядеться. Меня потрясли «Березовая роща» и «Лунная ночь» Архипа Куинджи. Модернистов я не понял, но их и не выпячивали, поместили на задворках, и подле них народ не задерживался. У их полотен люди не замедляли, а ускоряли шаг. Утомились мы сильно; когда в одном месте выставляется так много произведений искусства, это тяжело для восприятия. Нам еще предстояло купить билеты на ленинградский поезд. Тетя Саша взяла билеты прямо на

сегодняшний вечер. Пообещала, что мы еще посмотрим Москву на обратном пути. Но я подумал, что она не захотела злоупотреблять гостеприимством Скобелевых. Стесняла она, конечно, не тетю Катю, но Александра Сергеевича уж точно. Он почему-то не принимал участия в долгих вечерних разговорах ее и тети Кати. Наверное, из-за несовпадения интересов.

Ночь мы проспали в вагоне, который ритмично раскачивался, а когда окунулись в рассвет, в окнах уже мелькали ленинградские кварталы.

Какое впечатление у нас сложилось о семье Скобелевых, о тете Кате? Александр Сергеевич с нами общался мало, произносил несколько общих фраз и замыкался в себе. Мы были не его родня, мы были ему неинтересны. Тетя Катя показалась мне подневольным человеком, главным в доме во все времена был Александр Сергеевич. Он приходил и повелевал. Тетя Катя очень для нас старалась. И Ирочка для нас старалась. Она обещала приехать в Теткино дней через десять. Тетя Саша Александру Сергеевичу льстила, говорила комплименты, но мнения о нем была самого невысокого. Она считала, что культура обошла его стороной, и над своим пролетарским происхождением сколько-нибудь высоко он так и не поднялся, хотя одно время возглавлял громадное предприятие. И когда появился спрос на руководителей с более высоким уровнем интеллекта и культуры, Александр Сергеевич перестал быть руководителем, его заменили. Он очень переживал, но не в его власти было что-либо поправить.

111

Мы не дали телеграммы о нашем приезде, и дядя Алоиз нас не встречал. Но на руках у тети Саши было письмо с подробным описанием дороги от вокзала до улицы Щорса на Васильевском острове, где проживали дядя Алоиз и тетя Рита. Мы сели на один трамвай, пересекли реку Неву, стального цвета, широкую, прямо громоздкую, затем пересели на другой трамвай и сошли там, где надо – на улице Щорса.

Ленинград, к моему удивлению, оказался красивее Москвы, и много красивее. Здесь стояли дома, построенные еще в царские времена, и на каждом из них было приятно остановить взгляд. Цари любили себя и свою столицу, и здания, построенные при них и для них, отражали это в полной мере. В довоенные годы Ленинград приращивался разве что на окраинах, а после войны восстанавливал разрушенное. Ужасный голод в первую военную зиму унес жизни шестисот тысяч ленинградцев, но оставшиеся в живых выстояли и разорвали блокаду. Особенный, истинно столичный лоск был свойственен этому городу. Его строили с любовью. Об этом говорили нам каждая улица, каждая площадь.

Быстро найдя нужный дом, мы поднялись на третий этаж и обняли дядю Алоиза и тетю Риту. Дядя Алоиз еще работал, исцелял страждущих, а тетя вышла на пенсию. Она тоже была врач, оба прошли в действующей армии войну финскую и войну отечественную, работая в одном госпитале. Тетя Рита, шуплая и подвижная, отличалась неумной энергией. Своих детей у стариков не было, и они воспитывали Риту маленькую, дочь Сигизмунда. Она тоже перешла в десятый класс и сейчас гостила у матери в Казахстане.

Мы сразу были окружены вниманием и заботой. И это внимание было не показным, как со стороны Александра Сергеевича, а искренним, сердечным. Недавно они купили автомашину «Москвич», и тетя Рита быстро обучилась водить ее. Ездил она медленно и аккуратно и не имела ни одного замечания. Дядя Алоиз, хирург, лечил онкологических больных. Они и были его головной болью: они слишком часто умирали. Он старался снова и снова, он все для них делал, а они все равно умирали. В войну он оперировал раненых в брюшную полость, и его, как немца, не удалили из армии – его больные выживали чаще, чем прооперированные коллегами. Отсюда следовало, что у него были золотые руки.

Оба старика курили, но делали это врозь, причем каждый из них на полном серьезе запрещал курить другому. У них была одна большая комната в коммунальной квартире с общими для всех кухней, ванной и туалетом. Их комната была тесно заставленная старыми шкафами и диванами. Вода для ванны нагревалась в самой ванной, в специальной газовой горелке. И в Москве уже был природный газ – против нашей керосинки. Я сразу оценил, какое это удобство. Чиркнул спичкой, и через пять минут заваривай чай. Тетя Рита быстро составила для нас программу.

- Сегодня катаю вас по городу, завтра едем на озеро Разлив, послезавтра идем в Эрмитаж, приобщаемся к великой культуре прошлого, - объявила она. Тетя Саша согласно кивнула. Дядя Алоиз пообещал на этот период сократить свои рабочие дни, чтобы больше времени проводить с нами. Оба старика понравились мне. Они были патриотами своего города и ставили Ленинград гораздо выше Москвы. Ленинград они называли Питером. Дядя Алоиз сказал, что ленинградцев, особенно довоенных, большинство из которых не пережило блокаду, отмечала высочайшая интеллигентность. Москва же всегда была городом купеческим, грязным и хамским (я этого не заметил, и тетя Саша – тоже).

Говоря о Скобелевых, они пожалели тетю Катю, а Александра Сергеевича наградили не очень приятными словами. Было упомянуто о штурме Кремля в ноябре 1917 года и о расстреле юнкеров. Зачем надо было ставить к стенке совсем мальчишек? Они бы потом послужили родной стране, сказали свое слово в войне отечественной и на стройках пятилеток. Потом дядя Алоиз поехал в свою клинику, а мы вчетвером втиснулись в «Москвич» и

покатили по широким ленинградским проспектам, симпатичным в любое время года, а особенно летом. Мы увидели много красивого, но мало чего запомнили. Мы опять увидели Неву с крейсером «Аврора» на причале. Крейсер был большой, но старый, высокотрубный, выкрашенный в цвет грозового облака и, в отличие от реки и зданий на набережной, совсем не величественный.

Над Невой поднимались здания удивительной красоты – одно с острым золотым шпилем, уходящим в серое небо, второе, зеленое, со скульптурами на крыше. Третье, глыбообразное, было увенчано куполом, какими покрывают соборы. Купол сверкал свежей позолотой.

- Зимний дворец! – сказала тетя Рита про зеленое здание. Далее мы поехали по Невскому проспекту. Мы смотрели и смотрели. Но часто вместо зданий были пустыри, на которых росли молодые деревца. Происхождение этих сквериков было простое – сюда попала бомба, развалины убрали, а восстановить то, что здесь стояло когда-то, еще не успели. Тетя Рита сказала, что в войну, в победном сорок пятом году, она и дядя Алоиз повидали много иностранных городов, но только Вена по красоте могла сравниться с Ленинградом. Берлин – нет, он мрачен и сер. Будапешт, Варшава и Прага и ростоком пониже, и статью пожиже.

- А Париж? – спросила Оля.

- До Парижа, как вы знаете, наши войска не дошли, поэтому там я не была, - ответила тетя Рита. Но авторитет Ленинграда она была готова отстаивать и перед Парижем.

- В Париже русские были в 1814 году, - сказала Оля. «Все помнит!» – подумал я.

А тетя Рита уже старалась втолковать нам, что такое градообразующая идея и как важно следовать ей буквально во всем, и что такое архитектурная соразмерность, или гармония (на Невском проспекте все дома почти одного роста, но разного достоинства), и что такое для большого города река и море, - они взаимно друг друга облагораживают.

- Море! – мечтательно произнесла сестра.

- Не видели еще моря? Сейчас увидите! – И тетя повезла нас на берег Финского залива. Мы увидели кусочек залива с водой темной, почти черной, и сосновый лес за ним, в который не вкрапливался ни один дом. Под облачным небом море было спокойное, а там, где в разводья облаков врывалось солнце, на море лежало яркое пятно света, и тот участок прямо сиял. Море привораживало. Пароход плыл вдалеке; он смещался медленно-медленно, и за ним стлался дым.

- А где здесь купаются? – спросил Юра.

- Есть пляжи, но мы не купаемся – холодно, и легко можно простудиться. К нам, старикам, болячки так и липнут. А в Разливе вода теплая, берега песчаные, и там вы поплаваете в свое удовольствие, - пообещала тетя Рита.

- Хорошо, когда есть машина, - сказала Ольга. – Мы так быстро везде побывали!

Тетя Рита улыбнулась. Она улыбалась бесхитростно, как школьница, которую похвалили почти ни за что. Тетя Саша сказала, что любит Черное море, которое в августе просто чудо. Еще бы: она и выросла на его берегу. У моря мы простояли долго, такая была у него притягательная сила. Но чайки над нами не пролетели ни разу. Впечатлений для одного дня, конечно, было слишком много.

А вечером дядя Алоиз подробно расспросил сестру про свою мать – нашу бабушку Марию Мартыновну. Он восторгался ее подвижностью, жизнелюбием. 84 года, а вся в трудах праведных – и готовит, и стирает, и подметает, у дочерей выхватывает из рук работу, когда своя кончается. Ненасытная какая-то она на работу. Покой не для нее, его у нее и не было никогда. При девяти детях его и быть не могло.

- И тебя, братик, поругивает за то, что не вышлешь ей средство от морщин, - сказала тетя Саша. – Она так надеется! Она очень надеется, что ты уберешь с ее лица морщины. – Про свои морщины она почему-то не упомянула, что их тоже лучше было бы убрать.

- Как будто сотворено такое средство! Да за него бы перегрызлись все ведущие парфюмерные фирмы мира! – смеется дядя, очень довольный, что его мать – долгожитель. – На что она еще жалуется, помимо своих морщин? Что у нее болит?

- Она практически здорова. Но что-то начинает забывать, - не то, что было с нею в молодые годы, а совсем недавнее, вчерашнее. Это что, склероз?

- Это его начальная стадия. Думаю, что она переживет меня и тебя. О себе я не могу сказать, что практически здоров, и о тебе тоже. Кстати, ты на что жалуешься? Тебя посмотреть?

- Я все чаще чувствую, что у меня есть сердце и что ему, моему сердцу, неуютно, холодно, тяжело. Иногда рядом с сердцем возникают боли. Ощущение такое, что моему сердцу уже мало места в моей груди.

- Боли какого характера? Спазматические? Острые? Долгие, медленно затухающие? Что им предшествует? Идем, я тебя послушаю. Ты получишь все лекарства, которые тебе нужны.

И дядя Алоиз завел тетю Сашу за ширму и пригласил тетю Риту – для консультации. «Стенокардия! – услышал я. – Ишемическая болезнь сердца в начальной стадии». Про эти болезни я слышал, что они плохие, то есть трудно поддающиеся лечению, и с ними человек не расстается до последней черты. Они страшно липучие – прилипают и не отлипают. Впрочем, я уже знал, что все болезни плохие, и только их полное отсутствие есть хорошо. Но так почти не бывает, и чем человек старше, тем у него больше болячек.

В Разлив мы добирались часа два, тетю Риту все обгоняли. Она хотя и была русская, но быстрой езды не любила; точнее, она не любила ее сопряженность с опасностью. Я заглядывался на леса. Для меня было откровением, что здесь, совсем близко от полярного круга, росли могучие дубы. Значит, ленинградские зимы им не страшны – благодаря теплоте течения Гольфстрим. В Разливе народная тропа первым делом вела к шалашу, в котором Владимир Ильич скрывался от царских ищек летом 1917 года. Шалаш далеко не походил на тот, в котором мы жили на огороде у тети Саши. Он был добротный, толстостенный, способный защитить от дождя и порывов холодного ветра, с очагом у входа, с колодой у очага, заменяющей стулья. Все честь по чести: шалаш каким-то чудодейственным образом демонстрировал свое уважение к человеку, который в нем жил почти сорок лет назад. Не ютился, не прозябал, а именно жил. Ему даже было на чем писать в шалаше.

Неподалеку, на сочном лугу, могли пастись коровы, но их, скорее всего, и близко к шалашу не подпускали, чтобы не вклинивались плебейским своим присутствием в мысли великого преобразователя мира. Экскурсовод неспешно повествовала, глядя поверх нас, каким было лето 1917 года с точки зрения революционной ситуации: царя не стало, царя даже арестовали, его заменило временное правительство Керенского, не имевшее никакого авторитета, война продолжалась, большевики были против войны и против правительства Керенского и набирали очки на возмущении народа нарастающими трудностями. Царь сошел со сцены истории, потому что был слаб и бездарно руководил войсками; правительство Керенского тоже не имело под собой серьезной социальной опоры. Семена, брошенные большевиками в благодатную почву народного недовольства, дали обильные всходы, и к ним притекали все новые сторонники мира без аннексий и контрибуций и решительного обновления страны.

Керенский всполошился и начал гонения на большевиков, хотя провозглашенные им демократические принципы позволяли большевикам действовать вполне легально. Полыхнула июльская проба сил; правительство Керенского оказалось сильнее. Над вождем революции нависла опасность, и он укрылся здесь, в тихом Разливе, далеко от стороннего глаза, но совсем рядом с Петроградом. Слабость власти Керенского, разброд и шатание в стране и общая усталость от войны давали большевикам хороший шанс, и они его не упустили. Все это, как говорится, мы уже проходили, но повторение – мать ученья. Мы поблагодарили экскурсовода, а она уже овладевала вниманием следующей группы.

Мы направились к озеру, на пляже, на чистом песочке разделись и вошли в воду. Что это была за вода! Теплая, как парное молоко. Ума не приложу, как здешней воде удавалось быть теплее окружающего воздуха – наверное, за счет прямых солнечных лучей и долгого-долгого летнего дня. Вода обволакивала, и ее можно было не замечать. Я поплыл, вода словно расступалась передо мной. Вдох, гребок руками, толчок ногами, выдох. Вдох, гребок руками, толчок ногами, выдох. Вот это вода! Почему она такая теплая? За счет того, что продолжительность дня здесь двадцать часов? Вдох, и вперед, вперед! Я не плыву, я парю. Витаю. А Оля и Юра барахтаются на мелководье. Не могут, чтобы под ногами не было дна. Надо научить Юру плавать, и сестру тоже. Пусть не боятся воды, пусть научатся любить воду. Прелесть как хорошо, когда вода к тебе благоволит.

Кто приезжал сюда к Ленину, кто охранял его? Что в это время делал Сталин? Надо было спросить. Но я почему-то всегда стесняюсь задавать вопросы. Дурацкая стеснительность. Спрашивай и углубляй свои знания. Валентин все время тянет вверх руку и спрашивает. Но самый большой Почемучкин у нас Юра Третьяков. Он задает неприлично много вопросов. И это ему поясни и разжуй, и другое, и третье. Однажды я спросил его, для чего он это делает. Как для чего? Чтобы к доске не вызвали. Оказывается, он не всегда готовит уроки. Проявит инициативу, задаст пару – тройку вопрос, и учитель его не трогает.

Я вышел на берег и лег на песок. Песок был холоднее воды. Одни тети у нас неохваченные, игнорируют озеро. А оно такое замечательное! Что, стесняются своих давно уже не юношеских тел? А чего стесняться, в озере так приятно. Вон рыбак притаился за кустом, но удочка указывает на его присутствие. Отойди подальше, мы здесь всю рыбку распугали! Революция – это когда новая идея материализуется, опираясь на свою силу, подумал я. И эволюция – это тоже когда новая идея материализуется, но без громкого всплеска эмоций, без потрясения основ. Без кровопролития. Мальчик созрел, и ему создается поле деятельности – вот что такое эволюция. И не обязательно при этом кого-то отодвигать плечом на задний план. Он сам отодвинется, когда увидит, что отстал и что нехорошо загораживать путь тем, кто может идти быстрее.

Я поднялся, отряхнул песок с живота и ног и подошел к нашим старушкам. Они оживленно беседовали, и им не было скучно. Было видно, что тетя Саша очень жалуется тетю Риту. Видит в ней родственную душу.

- Вы бы тоже обмакнулись, - предложил я. – Прекрасная водичка!

- Мы, знаешь, без купальников, да и не тянет нас в воду, - сказала тетя Рита. Глаза ее поблескивали очень даже весело. Как это не тянет? Непонятно!

А вечером к нам пришел Валера, приемный сын дяди Алоиза и тети Риты. Я совсем забыл про него. Он был на три года старше меня и работал токарем на Путиловском заводе. Женился и отъединился от приемных родителей. Жена его ждала ребенка и по этой причине не доверила свое тело общественному транспорту. Валера был крепче меня. Его волосы кудрявились и отливали золотом. Старики взяли его из детского дома, когда ему было десять лет. Они всегда жаловались на укоренившиеся в нем детдомовские привычки, совершенно неустрашимые. У Валеры непременно должна была быть своя заначка в виде еды и денег, припрятанная очень

надежно. А так Валера был покладист и слушался, это давалось ему легко, ведь старики ничем особенным его не обременяли. Природа наградила его посредственными способностями, учился он тяжело и без охоты, в школу ФЗО пошел с большим удовольствием – самостоятельность влекла его, как ничто другое.

Мы вместе поужинали, он обстоятельно ответил на вопросы о самочувствии жены, о работе, поинтересовался, не нужна ли его помощь. Он был своим в этом доме, и я понял, что старики запали в его заскорузлую душу. Своих настоящих родителей он помнил хорошо – ему было шесть лет, когда отец ушел на фронт, и семь, когда мать умерла от голода. Валера сказал, что у него будет много детей, как у узбеков. Ведь у его родных отца и матери могло быть много детей, если бы не война. Крепко он запомнил, как его родители хотели, чтобы у них было много детей. Он вобрал это в себя, как наказ, как родительское благословение.

В Эрмитаж мы поехали сами, у тети Риты обострилась язва желудка. Она дала нам самые подробные инструкции, на какой транспорт садиться и где выходить, куда потом идти и где поворачивать. Мы все исполнили в точности, и Зимний дворец принял нас. Я и не знал, что музеи могут быть такими большими и такими богатыми. Наш музей искусств в Ташкенте мы легко обходили за два часа, а я не считал его маленьким. Здесь же анфилады помпезных залов были нескончаемы. Мы шли и шли, и нас окружала роскошь неопишуемая. Российские цари соревновались с императорами европейскими, кто кого перещеголяет. Тронный зал ну прямо давил на плечи своей величавостью. Малахитовый зал посверкивал загадочными зелеными бликами, малахитовые колонны подпирали малахитовый же потолок. Античный мир не знал живописи, но оставил нам удивительные скульптуры. Порыв, устремление в завтрашний день древние гении запечатлевали по всем канонам высокого искусства. Кажется, человечество во все времена только тем и занималось, что создавало прекрасное, нетленное. Я был поражен как обилием экспонатов, так и их совершенством. За каждым экспонатом стоял человек со своей не простой судьбой, и нам полагалось взять из его судьбы все высокое и поучительное. Это, наверное, он и завещал нам, далеким своим потомкам.

В зале Рембрандта меня потрясло полотно «Возвращение блудного сына». Мужчина в годах приветствовал благообразного старца, своего отца, и его окружение, пав на колени и преклонив повинную голову. И нам открывались его ступни (он ходил босиком), истрескавшиеся, вобравшие в себя пыль дальних дорог. И сын, и отец были наверху блаженства: они встретились, они давно ждали этого часа. Отец даровал сыну свое прощение. К нам были обращены лицо старца и голые ступни возвращенца; они были одинаково выразительны.

Еще мне понравились экспрессионисты, не все, но Ван Гог, Гоген и Сезанн. Ван Гог проник в мое сердце грубым своим неистовством, огнем своих мазков. Проза жизни была запечатлена на его небольших полотнах: красные виноградники, пьянящие, как молодое вино; заключенные на прогулке в небольшом тюремном двореке, все как один бритоголовые, тупо бредущие по замкнутому кругу; зарывшаяся в песок лодка на берегу моря.

Фрукты Сезанна были почти обыкновенные, как на наших ташкентских базарах, но каждое румяное яблоко, каждый румяный персик словно упрашивали: «Возьми меня! Возьми меня!» Я был готов смотреть еще и еще, но тетя Саша и Юра уже едва держались на ногах. Мы чуть не до земли поклонились великим мастерам и покинули бывшие царские покои. И тогда я сказал себе, что дворцы нужны людям, чтобы возвышать их над обыденностью, что быть жилищем для избранных – лишь часть их предназначения. Основное же их предназначение – концентрировать прекрасное и сохранять его для будущих поколений.

Идя к Невскому проспекту, мы пересекли площадь перед Зимним дворцом рядом с Александрийским столпом. Столп, высеченный из гранитного монолита, привезли и поставили без всякой техники, лошадами и руками – в честь победы над Наполеоном. А весил он более ста тонн. Это событие для России было самым памятным в девятнадцатом веке.

- Я этого великолепия никогда не забуду! – сказала Оля. А Юра почти спал на наших руках, так он намалялся. Для него это была слишком большая нагрузка. Для меня – тоже. Искусство не должно подаваться огромными дозами, оно тогда плохо воспринимается. Оно, после определенного предела, просто перестает восприниматься, и очень многое остается за бортом памяти. Надо вникнуть, сопережить, представить себе другую эпоху, другую жизнь. А как вникнуть, как сопережить, как сохранить увиденное в памяти, если перед тобой тысяча великих произведений искусства? Десять тысяч? Сие просто невозможно. Нет, я бы не хранил и не выставлял такую массу шедевров в одном месте.

Вечером того же дня славные старики проводили нас на вокзал.

И снова стучат колеса, отмеряют километры от пункта А до пункта Б, такого вожаделенного. Ночью мы спим, днем глазеем в окно, на просторы России, Белоруссии и снова России, на леса, пашни и маленькие непритязательные городки, а ближе к вечеру покидаем поезд, конечный пункт назначения которого – город Одесса. Быстрее – быстрее – быстрее, потому что поезд на маленьких станциях стоит только две минуты! И хорошо, что хоть останавливается, а то мог бы со свистом и грохотом промчаться мимо. Здравствуй, Теткино, незнакомое село в Курской области, где фашистов так крепко ударили под дых летом 1943 года! Их здесь так

ударили, что после этого они утратили способность наступать. Здравствуй, река Сейм, приток многоводного Днепра, который, как известно, перелетает не всякая птица!

Мы уже знаем, к кому приехали – к Полине Васильевне Пряхиной. Тетя Саша заранее с ней списывалась, а адрес ей дала тетя Юля. Полина Васильевна заверила ее, что цену запрашивает самую умеренную, не выше, чем соседи. И если кто-то предложит за комнату цену более низкую, мы вправе уйти сразу же, она не обидится. Очевидно, в Теткино деньги имели более высокую стоимость, чем в Ташкенте, ведь речь шла о деньгах небольших. Или в колхозе людям платили совсем мало?

Станция как-то незаметно перешла в село, хаты потянулись бревенчатые и саманные, с окошками, украшенными резными наличниками, с чердаками, набитыми сеном. Заполыхает, и сразу беги подальше, тушить такую массу горючего материала бесполезно. Все эти домики новизной не отличались, выстояли в войну. Значит, немец здесь не лютовал. Домики окружали сады, вишневые и яблоневые, за садами угадывались коровники, курятники и огороды. В садах я еще разглядел деревья черешни и груши и кусты малины и смородины. Черешню уже собрали, вишня дозревала, яблоки и груши наливались соком к осеннему своему сроку. Малина росла строго по рядкам и была привязана к шнуру, туго натянутому на полутораметровой высоте. Культура! «Культур-мультир на высоте!» - Так говорят наши узбеки, получившие высшее образование.

На дороге, по которой мы шли, пыли было больше, чем гравия, и она остро пахла навозом. Тротуары и вовсе были из чистой глины. Мы несли свои чемоданы и рюкзак и выделялись чистой городской одеждой. На нас оглядывались. Нам нужна была улица Степная, и нам указали, в какую сторону идти; сделано это было вполне доброжелательно. Но с нами говорили на смешанном русско-украинском языке; влияние Малороссии здесь было очень велико, и украинская мова резала слух своей непривычностью. Я вспомнил, что совсем недалеко отсюда Курская область граничит с Харьковской.

Мы шли и шли, Теткино было большим селом. Нас сопровождали любопытные взгляды людей, одетых в серую холстину, а также мычание коров. С пастбища возвращалось стадо, и коровы неспешно вышагивали в одном с нами направлении. Женщины открывали калитки, коровы заходили каждая в свой двор. Их упитанность я не назвал бы высокой, но к концу лета она должна была возрасти. Стадо редело, а мы все шли и шли. Нет, два раза мы останавливались, чтобы тетя Саша передохнула. Когда коров от стада осталось всего пять, мы пришли, куда надо. О счастье, двор Полины Васильевны выходил прямо к реке! Сейм, как я сразу понял, река медленная, равнинная, извилистая, без каких-либо сюрпризов. Вот где будет купалка!

Хозяйка вышла к нам в переднике не первой свежести. Всплеснула руками, заохала, заохала и повела в дом, который не был полной чашей, но был и добротен, и ухожен. Полина Васильевна была высока ростом, жилиста и темноволоса; черты ее лица я бы назвал грубоватыми, а нос и вовсе был выдающихся размеров, бушприт прямо. Лет ей было примерно сорок пять. Война отобрала у нее мужа, но старшие дочь и сын уже жили отдельно, своими семьями. А при ней жили сын Дмитрий, плечистый крепыш семнадцати лет с манерами первого парня на деревне, и дочь Оксана пятнадцати лет, которой начинали нравиться мальчишки – она была красива той первой, только начинавшей раскрываться красотой, которая свежа и нежна, а голову кружит, как старое вино.

Комната нам предлагалась не проходная, вторая. Зимой, по-видимому, она не отапливалась, и в ней не жили. Две кровати стояли в ней, для тети Саши и Оли, а Юре и мне предлагалось спать на полу. Мы могли пользоваться всем тем, что росло и поспевало в саду и на огороде, и еще могли покупать у Полины Васильевны молоко и яйца. Готовить должны были во дворе, на очаге под навесом, в десяти шагах от дома. Стопка свеженаколотых дров уже возвышалась у нашего очага. В вечер приезда мы поужинали вместе, закрепляя знакомство, а далее каждой семье полагалось держаться своего хлебушка. Из своих ресурсов Полина Васильевна выделила нам две кастрюли, сковородку и миски.

Я не выдержал и спустился к реке. Дмитрий вызвался сопровождать меня. Деревянный пирсик вдавался в тиховодь, и к нему была причалена лодка-плоскодонка с двумя скамейками, почерневшая от времени. Река имела в ширину метров пятьдесят; просматривались места, где она разливалась и пошире. Дмитрий скинул на траву брюки, нырнул с пирса и поплыл саженками. Я спустился в воду, не ныряя (в незнакомых местах я никогда не нырял), поплыл за ним следом и вскоре настиг его. Он возвратился к пирсу, а я направился к правому берегу, но не вышел на него, а как только мои колени коснулись дна, повернул назад. Вода была теплая-теплая, как в Разливе. В ней можно было пребывать как угодно долго.

- Где научился так плавать? – спросил Дмитрий. Он не ожидал от меня такой прыти.
- У нас в Ташкенте! Без воды у нас запаришься, знаешь! У нас поливают все, что сажают, лето у нас без дождей и очень горячее, - сказал я. – У нас все реки разбираются на орошение.
- Ну! – удивился он. – Ты в какой класс перешел?
- В десятый, а ты?
- Я тоже. Я бы работать пошел, но матушка настояла. Именем отца настояла, и я не ослушался. Ты еще наработаешься, говорит, а учиться потом будет поздно.
- А отца как звали?
- Федор Павлович. На плоскодонке грести умеешь?
- Никогда не пробовал. В первый раз вижу такую лодочку.

- Научу, это просто. Сядешь на корму, весло в руки – и сначала к себе, по ходу лодки, а потом от кормы. К себе и от кормы. К себе, конечно, оно привычнее, это каждый быстро усекает, но тут в конце гребка должно быть обратное движение. Плоскодонка шаткая, но послушная. Я иногда на ней сено вожу, и сваи с ее помощью тягаю. А рыбалить не рыбалою, не люблю, рыбалют у нас старики.

- Сваи тягаешь – это как? – спросил я.

- До войны у нас чуть ниже водяная мельница стояла, а при ней шпунтовая стеночка – воду подпирать. Мельница сгорела, и шпунтовая стеночка теперь ни для чего не нужна. Лишняя она теперь. Вот мы и тягаем из нее сваи, на дрова, на сараи. Свая – она, как две шпалы. Иначе, как по воде, ее и не привезешь.

- Мельницу немцы сожгли?

- Нет, наши. Немцы в ней пулемет поставили, а наши из танка и саданули, чтобы замолчал.

- А как вы при немцах жили? Они лютовали?

- Так у нас партизан не было, с чего им лютовать? Мы в них тут не стреляли, и они в народ не стреляли. Они там стреляли и домики жгли, где партизаны в них стреляли.

Мне стало обидно за село Теткино, такое большое, в котором в войну не было партизан. Все спаслись, но фронту не помогли. Дмитрий, кажется, это почувствовал, и сказал: «Зато село сохранилось, и народ сохранился, не полег, как в Белоруссии, десять наших за одного фрица». Это был довод, который мне самому не пришел в голову. В войну тем, кто приводил такие доводы, полагалось наказание. Мы еще раз вошли в воду и отлично поплавали, а на берегу не задержались, комарики окружили нас, обволокли, сопроводили до дома назойливым жужжанием над самым ухом.

В хате уже горели две керосиновые лампы, в комнате хозяев и у нас. Лишь теперь я обратил внимание, что на улице нет столбов с электрическими проводами. Значит, вечером не почитаешь.

- Все пишем письма домой, и Юра тоже! – говорит тетя Саша. – Излагаем свои впечатления!

- Можно завтра, не при копилке? – Я быстро выцыганил себе право написать письмо завтра. Впечатлений было много, и я подумал, что хорошо было бы начать вести дневник, записывать каждое интересное событие, которое произошло со мной, с близкими людьми, со страной. Ведь не вспомнишь потом ничего! А раскроешь дневник, прочитаешь, и годы, которые давно прошли – вот они, как на ладони! Только надо так заполнять дневник, чтобы никто не заглядывал в него со спины. Ведь то, что я заносу в дневник, только мое и ничье больше. Я пожалел, что эта мысль не пришла ко мне раньше, и что со мной нет тетради, чтобы привести ее в исполнение прямо сейчас. Ладно, начну дома, но занесу в дневник все-все, что увидел в Москве, Ленинграде и здесь, в селе Теткино.

После Ужина Дмитрий и Оксана пошли на посиделки в клуб или куда-то еще, к кому-то на скамеечку, куда и баянист должен был пожаловать, а мы остались попить чаю и послушать Полину Васильевну. Она тоже, рассказывая про войну, упомянула, что немцы тут не свирепствовали и никого не убили.

- А сражение на Курской дуге вас не прихватило? – спросил я.

- Так немец сначала попер-попер, а потом побег-побег, и все мимо нас. Нам повезло, у нас все целое осталось, и у соседей тоже, а дальше погорельцев дюже много, - вспоминала она. Как живут ее старшие дети? Как все. Сын работает на тракторе, дочь – на ферме. На жизнь хватает, но хлеба отрезаешь себе толстый кусок, а масла намазываешь на него тонкий слой. Ничего, привыкли.

Тетя Саша засмеялась и вспомнила дореволюционный Мариуполь, когда в отчет доме Рисслингов, полном ребятни, всякой снеди хватало и все были одеты и обуты, а работал один отец, попечитель учебных заведений – он получал жалованья сто рублей в месяц. Полина Васильевна тоже не стала хаять дореволюционную жизнь, хотя представление о ней имела смутное, неполное. Смуту гражданской войны и принесенный ею голод она помнила; взрослые мужчины в ее семье, пришедшие с империалистической войны после замирения с немцами, колебались между красными и белыми, но Полина Васильевна говорила, что все они были за красных.

А как ей работает в колхозе? В поле она занята, на свекле – прополка, копка. И на картошке. Трудодни свои вырабатывает, на трудодни получает зерно, сахар и денежек чуть-чуть, на самую простую одежонку. Чтобы трудодней было больше, не старается, проку от них мало. Нет стимула, чтобы стараться. Корова, сад и огород дают семье не меньше, и тут ее старание ее же и вознаграждает. Тут уже есть ради чего выкладываться. Ну, пенсия идет – за утраченного кормильца. Но это немного и до тех пор, пока детям не стукнет восемнадцать. А стукнуло, и пенсии конец. Свой колхоз Полина Васильевна не хвалила и не ругала, он не нес в дом хорошего достатка, и в соседних колхозах было то же самое. Мимоходом упомянула, что до колхоза всем было лучше. До колхоза крестьянское рвение вознаграждалось совсем не так, как сегодня. Колхоз же позволял существовать, сводить концы с концами, и только.

- Когда люди хозяйствовали единолично, им и жилось лучше, - еще раз заключила она и внимательно нас оглядела, как мы отнесемся к ее резким словам, не поставим ли их ей в вину. Тетя Саша прекрасно ее поняла и улыбнулась одними уголками губ, но про страшный голод на Украине, пережитый ею, не рассказала. Углубляться в эту щекотливую тему две мудрые женщины не стали, молодая поросль могла их не так понять. Но обе увидели, что наедине им будет о чем поговорить и что вспомнить.

Рассвет по всему селу дружно приветствовали петухи. От души они горланили, словно без их приветствия солнышко задержалось бы и не взошло. Вместе с их криками началось движение в соседней комнате. Утром хозяйка кормила свою живность – корову и кур, а также сына и дочь. Корову она еще и выдаивала. Два литра молока она оставила нам, два литра – себе, остальное пропустила через сепаратор. Встала и тетя Саша. Не думаю, чтобы в самые счастливые свои годы она подолгу нежилась в теплой постели. На ней лежало приготовление завтрака, и она отдалась этой нехитрой работе.

Осознав, что проснулся, первым делом я погрузил свое тело в Сейм. Утренняя вода была ничуть не хуже полуденной или вечерней, и, если бы было можно, я бы поплавал гольшом. Плавать было одно удовольствие, и я старался держаться середины, где было глубоко и не росли водоросли, не скользили по коленкам и животу волосами русалки. Течение почти не давало себя знать, его скорость была сантиметров двадцать в секунду. Наплававшись до гусиной кожи, я сел у очага и стал поддерживать огонь, какой был нужен тете. Это я любил; смотреть на огонь мне не надоедало никогда. Я обнаружил колоду и топор и подрубил дров, для нас и для Полины Васильевны. Дома я рубил саксаул и топил две наши голландские печи саксаулом и углем. Одни кругляки раскальвались легко, другие, сучковатые, упорно топору не поддавались, и я поднимал их над головой, переворачивал в воздухе и обрушивал на колоду обухом топора вниз. Но и тогда они раскальвались только со второго или третьего удара, так что мороки с ними было много.

Я вспотел, расколов с десятков кругляков. Подумал, что буду заниматься этим каждое утро – чем не физкультура? У Валентины и у Гены были нормальные мускулы, а у меня – слабые. А в окно за мной наблюдала Оксана. Когда я посмотрел на нее, она отшатнулась назад, в сумрак комнаты. Я вспомнил Людмилу, ташкентскую мою пассию, ее привораживающие веснушки. Приблизился ли я к ней за минувший год? Я жадно смотрел на нее издали, и только. Совместные с девушками комсомольские собрания прекратились, по команде из райкома комсомола. Там вдруг сочли, что эта инициатива преждевременна. Наверное, не сами сочли, а получили соответствующее указание.

- Что райком? – сказал мой отец. – Промежуточная передаточная инстанция.

А диспуты с девочками из другой женской школы, проводимые Ириной Александровной, никто у нас не отобрал, и они нравились нам все больше и больше. Но Людмила в этой женской школе не училась. Зато там училась Ада Герасименко, по которой тайно вздыхал Валентин. Мне тоже нравилось смотреть на Аду. Импульсивная это была девочка, и очень развитая – умница, каких поискать. И еще гимнастка.

А по кому тайно вздыхал Геннадий? Этого я не знал; он уверял нас, что не пришло еще его время влюбиться. Он или делал вид, что женская половина человечества ему пока неинтересна, или так оно и было. Мы позавтракали, и я попросил у Оксаны весло. Она тоже села в лодку с нами.

- Сидим тихо, - сказал я, обращаясь главным образом к Юрию, - не суетимся, к водичке не нагибаемся. Бултых-бултых и буль-буль нам не надо!

- Бултых-бултых и буль-буль нам не надо! – повторил Юра и засмеялся.

Я заработал веслом. Я привык к двухвесельным лодкам, какие были у нас на лодочной станции Комсомольского озера. Плоскодоночка же управлялась одним веслом, со стороны кормы. Гребешь слева, если ты правша, и при каждом гребке слегка выправляешь корму, чтобы лодочка не виляла. Я освоил этот метод работы веслом в пять минут. Мы плыли против течения, и вскоре село кончилось. Поля потянулись пшеничные, не очень чистые, с васильками и другими вкраплениями, затем нам открылась березовая роща, небольшая, уединенная. Березы подступали к самой воде. Они были несколько не такие, как в горных урочищах по Коксу и Чаткалу. Они не росли соцветиями, по пять-шесть стволов от одного корня, но стояли гуще и, как мне показалось, были повыше, посolidнее.

Мы доплыли до рощи и повернули обратно. Оля сидела рядом с Оксаной. Они были одного возраста, но Оля училась на класс старше. И глаза у моей сестры были более выразительные, более внимательные. Голубые большие глаза, пристальные и откровенные, как у отца.

- И чего это мы все время молчим? – сказал я. – Чего это никто ничего не рассказывает? Оксана, как вы здесь живете-обитаете?

- Живем, обитаем, добра наживаем, - согласилась Оксана. – Но без папы нам плохо. Мама много работает, а помочь по школе мне не может. Малоспособная я, троечница. В математику совсем не врубаюсь. На фи́га мне эти иксы, игреки и зеты, кто скажет? Семь классов закончила и думала, что хватит с меня. А мама настаивает, чтобы еще училась. Пойти работать – куда? На ферму, к коровам? На другую ферму, к цыплятам? В вечный навоз погрузиться? Нет, такого светлого будущего я себе не хочу. А больше некуда идти, заводов вокруг нет ни одного. Значит, опять в школу. А мне обрызгла учеба. И то не по мне, и это. Я как на распутье. В город податься, там на завод поступить – мала еще для самостоятельной жизни. Вот какие у меня дела.

- Я бы послушался маму, - дипломатично подсказал я. – Матери нам плохого не желают.

Оксана кокетливо повела плечиками – мол, это мы уже проходили.

- А что ты любишь, чем увлекаешься? – спросила Оля.

- В каком смысле? – не поняла Оксана.
- Ну, к чему тебя тянет, что ты умеешь, что у тебя получается лучше, чем у подруг?
- Ааа! Шить я умею и люблю. Все, что на мне и на маме, сама пошила. И крою сама, мне мама журналы мод выписывает – и не прогадывает, тратя на них деньги! Я три раза уже зарабатывала на этом, вот! Тете Мане платье пошила, и тете Зое – еще лучше! И еще одной тетеньке, из правления колхоза.

- Здесь, в большом селе, у вас разве нет ателье? – спросила Оля.
- У нас только в районе, это далеко.
- Так откройте! Тут никаких особых цехов не надо. Шить можно и дома. У вас есть человек, который мог бы создать швейную артель?

- Артель? Это что-то вроде нашего колхоза, когда пашешь много, а получаешь с гулькин хвост? – спросила Оксана.

- Это когда все заработанное – ваше, за исключением налога, - сказал я, хотя в артельные дела не вникал никогда.

- Ты мне дело подсказываешь! – вдруг согласилась Оксана и вся осветилась радостью. – Я знаю женщину, которая хорошо кроит. Она на швейной фабрике работала и в машинках разбирается. Я подойду к ней. Она дома шьет и со своим шитьем не высовывается, чтобы к ней претензий не было. Мы... ну, скооперируемся, как ты сказал! А там пусть другие женщины к нам присоединятся.

Заговорившись, мы проплыли мимо нашей усадьбы, совсем неприметной, и пришлось развернуться. «Ты еще раз поговори с мамой и все обоснуй, а особенно упирай на то, что хочешь, чтобы мама меньше работала и меньше уставала», - сказала Оля.

- Какая ты умная! – искренне удивилась Оксана. – В нашем классе нет ни одной такой умницы. – Ольга зарделась, и я опять отметил про себя, какие у нее глубокие глаза. Потом, по приглашению Оксаны, мы прошли в огород и накосили травы для коровы, а заодно пропололи картофельные грядки, и грядки с луком, помидорами и огурцами. Огород был большой, больше, чем наш двор в Ташкенте, в котором жило восемь семей. Я обратил внимание, какая здесь черная земля. Она так и называлась – чернозем. Это сплошной перегной. На нем все росло, как на дрожжах. Картофельные и помидорные стебли были тугие и сочные, а подсолнухи уже вымахали выше нас, и шляпки у них были большие и желтые и гнулись к земле. Потом Оксана нарвала огурцов себе и нам, и мы пошли купаться.

В купальнике, пожалуй, Оксана выигрывала у Ольги, женское начало обозначалось в ней резче, рельефнее. Я подозвал к себе Юру и стал учить его плавать. Я поддерживал его рукой за живот, а он бултыхал ногами и руками что есть силы. Брызг получалось много, а толку мало. Большое его усердие не перерастало в умение. Но я проявил терпение.

- Не спеши, - сказал я. – Руками ты делаешь гребок вот так, а ножками толчок вот так! Начали! И раз, и два! Продолжили, продолжили!

Я незаметно отвел руку от его живота, но тогда его потянуло вниз, и я возвратил руку на прежнее место. Я учил его плавать до тех пор, пока он не посинел. Потом появился Дмитрий и предложил: «Поплыли дергать сваи!» Мы сели в лодку, уже без девчат, и отчалили. На дно Дмитрий положил крепкую пеньковую веревку, лом большой и ломик маленький. Шпунтовая стеночка когда-то перегораживала всю реку, создавая полуметровый напор, достаточный, чтобы крутить мельничные жернова. Теперь от мельницы остался один фундамент, а от шпунтовой стеночки – две трети. Разница в уровне воды выше и ниже стеночки достигала сантиметров десяти.

Дмитрий причалил к стеночке снизу, привязал лодку, мне велел сидеть в ней, сам спрыгнул в воду, подплыл к крайней свае, обхватил ее своими крепкими руками, пошатал. Свая не поддавалась. Он попросил подать ему маленький ломик и ловко вогнал его между шпунтами. Нажал, напрягся, нажал сильнее. Образовался зазор по ширине лома. Крепкий он был парень, куда крепче меня.

- Ага, пошла, зараза! – обрадовался он, просунул в зазор веревку и обвязал ею сваю, которую собирался извлечь. Как рычаг уже был задействован большой ломик, мы вдвоем надавили на конец, и свая подалась вверх. Пошла, пошла! Мы развязали веревку и завязали пониже. Теперь свая шла легче. Мы извлекли ее в четыре приема. Конец ее, который находился в земле, был аккуратно заострен, но заострен наискось, чтобы свая, когда ее забивали, плотно прилегала к соседней. И выступ в ней был с одной стороны, а с другой стороны паз, для плотного примыкания.

Мы привязали сваю к лодке. Та ее часть, которая все время пребывала в воде и в земле, сохранилась в неизменном виде, а верхняя часть, соприкасавшаяся с воздухом, подгнила, и сильно. Вторая свая не поддавалась очень долго. Мы и раскачивали ее вдвоем, и отодвигали ломом от соседней сваи, а она упорно не хотела покидать насиженное гнездо. Мы потрудились минут сорок, пока извлекли ее. Еще бы! Она была забита сантиметров на тридцать глубже первой. А третью свою мы извлекли легко, играючи. Нажали, и она сразу поддалась.

- Хорошо! – объявил Дмитрий, довольный результатом.

Назад лодочка ползла едва-едва, сваи ее тормозили. Во двор мы втащили их волоком, предельно напрягаясь. Так бурлаки тащили свои баржи. Я обратил внимание на то, что коровник и курятник у Пряхиных были сложены из свай. Дмитрий уже давно разбирал шпунтовую стеночку, он и силу свою не маленькую накачал

на ее разборке. Конкурентов же у него, скорее всего, не было, никто больше не хотел так корячиться ради какого-то куска дерева. Трухлявый верх свай отпиливался и шел на дрова, а все остальное снова становилось деловой древесиной. В углу двора сушилось десятка два свай. Мне показалось, что Дмитрий или Полина Васильевна приторговывают ими – и на здоровье!

Я перетруился и после обеда заснул. Потом мы еще покупались, и я опять поучил Юру умению держаться на воде. Он, кажется, начал понимать, что к чему, и, сделав вдох, закрывал рот, чтобы в него не затекала вода. Потом мы втроем азартно играли в лапту с Дмитрием и Оксаной. Вскоре к каждой стороне присоединилось человека по два. Круг наших знакомых расширялся. С лупоглазым Валерием мы познакомились, и с девицей Ритой, почти женщиной, которая нравилась Дмитрию. Он таял рядом с Маргаритой, и ему не понравилось, когда я со вкусом вклеил в нее тяжелый каучуковый мячик. Она аж передернулась и потом долго растирала ушибленное место. Но игра есть игра, и Дмитрий отыгрался на мне, расстреляв меня почти в упор. Мы набегались до седьмого пота.

- Завтра давайте сходим в монастырь! – предложил Валера.
- А это далеко? – поинтересовалась Оля.
- Десять километров, ерунда на постном масле! – сказал Дмитрий.

У1

И на другой день всей веселой разношерстной командой мы отправились в монастырь. Лупоглазый Валера с согласия Дмитрия подсуетился, взял бутылку самогона. «А что? Если можно взрослым, почему нельзя нам? – спросил он с вызовом и постарался придать своим круглым выпуклым глазам вид наивный и добродушный. – Чем отличаются праздники от буден? Только содержимым белой бутылочки, оно для праздников!» Тетя Саша отпустила нас без единого слова протеста. Мы пошли полями, на которых росла сахарная свекла, потом пшеница, потом кукуруза, потом снова сахарная свекла. В пшеницу были густо вкраплены васильки, лопух и другая сорная трава. Поле с подсолнухами бросало вызов всем другим полям, такое оно было торжественное, необыкновенное. Грациозное это было поле. Головки подсолнухов были каждая, как большая сковородка. Мы шли то по пыльной дороге, то тропками, проложенными напрямик, через поля.

Идти тропками было приятнее, они совсем не пахли коровами. Быстро поднималось солнце и подминало под себя прохладу. Дмитрий держался ближе к Рите, а лупоглазый Валера старался произвести впечатление на Оксану. Оксана демонстративно отнекивалась от его знаков внимания, а когда он почему-то от нее отъединялся, скучала. Отъединялся же он для того, чтобы покурить; сказывалась старая школьная привычка: курящего ученика никто не должен видеть. Он сворачивал сигарку с табаком-самосадам, и его лохматая голова обволакивалась сизым дымком.

Когда мы вошли в лес, мы почувствовали себя избранниками судьбы. Сама природа сжалась над нами и окунула в лесную прохладу и тишину. За лесом, за сиятельным березняком и находился монастырь. Красные массивные стены, красная черепица на крыше, провалы в кровле, где черепица просела или была разобрана для местных нужд (если она ничья, а мне очень нужна, почему бы мне не попользоваться ею?), черная пустота дверных и оконных проемов – монастырь был брошен и страшно запущен. Уж лучше бы его целиком разобрали на кирпичи! Все людям была бы польза. Его не использовали ни для чего – почему? Ни школу в нем не разместили, ни больницу, ни какой-нибудь армейский или снабженческий склад. Мы вошли во двор и увидели, что многое уже разобрано, по камушку и по кирпичику.

Тишина запустения окружила нас и обволокла. Мы вошли в церковь, загаженную донельзя; при этом никто из нас не перекрестился. Нас не научили уважать веру своих предков; напротив, нам каждый день внушали, что вера в Бога – это отсталость, атавизм, вчерашний день в истории человечества. В таких разоренных церквях, наверное, и не крестятся, их надо сначала очищать от осквернения. Внутри церкви я поежился, так там было нехорошо, мрачно. В монастырских кельях не было ни полов, ни потолков. Дмитрий повел нас в подвалы. Там было совсем мало грязи, не то что в верхних помещениях, только сначала надо было привыкнуть к темноте. В одном месте в своде зияло рваное отверстие, в которое обильно струился свет.

- Ого, мина рванула! – определил лупоглазый Валера.
- Здесь и присядем! – предложил Дмитрий.
- Как называлось это место раньше? – спросила Оля.
- Не знаю, – сказала Рита. – Монастырь и монастырь, а в честь какого святого – не знаю.
- Монастырь был посвящен святому Пантелеймону, – сообщил Дмитрий, премного довольный, что знает хотя бы это. – А кто был святой Пантелеймон и за что ему такие почести, я не волоку, об этом одни бабушки знают. Бабушки наши к старой жизни очень привержены, им в ней было лучше, а мы эти их знания не перенимаем, они нам в коммунистическом завтра совсем не нужны.

Говоря это, Дмитрий смотрел на меня и ждал моей реакции. Ее не последовало, но я отметил, про себя, что он знает больше, чем это запечатлено на его простой деревенской физиономии. Оксана вырвала с корнем несколько стеблей полыни, стряхнула с корней землю, соединила стебли вместе и этим импровизированным

веничком навела порядок в углу, где мы собирались присесть: смахнула со стен густую паутину, а с каменного пола – ошметки раствора, кирпичную крошку и пыль. Из кирпича же мы сложили себе сидения. Дмитрий сбегал к ручью за водой, полил девочкам на руки из бидона. Потом Рита полила на руки ребятам.

- Ого, будет чем закусить! – обрадовался Валерий, когда снедь из сетки и кошелки перекочевала на газету, постеленную прямо на полу. – Налетай, братва, подешевело!

У нас были три стакана, и все их он наполнил самогоном на три четверти. Бутылочки как не бывало. «Мне много!» – сразу сказал я. – «Пополам с Ритой будет в самый раз!» – сказал Дмитрий. Риту я в расчет не принял, а это была эмансипированная девица.

- Ну, вздрогнули! За знакомство и сближение! – провозгласил тост лупоглазый Валера (Дмитрий для краткости звал его Лупой, но Рита и Оксана почему-то стеснялись произносить это слово).

Дмитрий опрокинул в себя самогон и не поморщился. Валера отпил ровно половину. Я отпил меньше половины и протянул стакан Рите. Самогон пах скверно, а крепость имел необыкновенную. Он сразу ударил по животу и по голове. Прохлада подвала куда-то подевалась, как испарилась, а воздух быстро порозовел.

- Закусываем, и дружно! – верещал Валерий. – Девочки, эти котлетки для вас, а соленые огурчики, извиняюсь, для нас.

Я сунул в рот стебель зеленого лука, и он перебил вкус самогона.

- Огурчики и помидорчики, а я с милым целовалась в коридорчике! – озорно пропела Рита.

- Приятно потом будет вспомнить! – поддел ее лупоглазый Валера и засмеялся. – Уточнить, кто был милый, не будем?

- Не будем, не маленькие, - сказал Дмитрий и легко, играючи коснулся упругого и загорелого плеча подруги своим крутым плечом.

- Налейте мне воды! – вдруг попросил Юра. стакан ополоснули и наполнили водой из бидона. Юра все выпил и попросил еще. Я почувствовал, что пьянею, и тоже выпил воды. По Валерию уже было видно, что он опьянел, а по крепышу Дмитрию – нисколько. Но закусывали все с превеликим аппетитом.

- Оксана, - обратился Валера к сестре Дмитрия, - здесь зарыт клад. То ли крымчаки его закопали, то ли турки, то ли белые, то ли немцы. Пошли, поищем?

- Ну тебя! – отмахнулась девушка.

- Ритонька, а ты как относишься к зарытому кладу? – спросил Дмитрий. – Поищем, или пусть себе лежит?

Я посмотрел на кирпичные своды и подумал, что здесь может быть сокрыта не одна тайна. Рита же подумала совсем о другом – о том, что она давно предвкушала.

- Пошли, поищем! – сказала она просто, первая поднялась и протянула Дмитрию руку. Удаляясь под другие своды, они растаяли во мраке. Юра хотел было последовать за ними, мысль о кладе всецело им завладела, но Валера погрозил ему пальцем: есть клады, которые ищут вдвоем, втроем же их не найти никогда. Я еще выпил два стакана воды и тем самым нейтрализовал давление самогона. Подумал: «Неужели это так просто? Неужели для этого надо отойти подальше от честной компании, и все? Неужели это желанный финал того, к чему с великими надеждами движутся двое?» Темновато было в нашем углу, но я почувствовал, что Оля покраснела. Я, однако, готов был дать на отсечение руку, что Оксана не покраснела. Она тоже могла пойти и поискать клад, но не захотела. С другим парнем, возможно, она и пошла бы. В свои пятнадцать лет? А это у каждой девушки складывается сугубо индивидуально.

Я встал, и меня слегка повело вправо. Я поднял бидон и стал пить прямо из него. После меня к бидону жадно приник Валерий. Ну, самогон, ну, отравка мужичья! И зачем я к нему приложился?

- Пойдемте к ручью! – предложила Оля. Мы собрали остатки еды и покинули сумрачный подвал. Мы знали, что Дмитрий и Рита легко разыщут нас. Ручей протекал среди густой травы и кустов малины, под сводами лип. Малина была обобрана основательно, но осталось и нам. Это было приятное занятие, но я время от времени подходил к ручью, ложился на бережок и приникал губами к студеной струе. Я выпил уже невообразимо много. Я хотел погасить холодной водой жар, оставленный во мне самогоном. Вино и пиво я уже пробовал, а водку – всего один раз, и в памяти отложилось, что она крепкая и противная и что после нее все вокруг начинает кружиться. Самогон был еще крепче и в сто раз противнее. Он не пробудил во мне ни одного высокого чувства.

Хорошо, что мы набрели на обширный малинник. Пожалуй, малины здесь хватит, чтобы принести домой, угостить тетю Сашу. Я выплеснул из бидона воду и стал заполнять его малиной. Оля присоединилась ко мне. Оксана и Валерий маячили далеко впереди, но с глаз не исчезали. Я вымыл в ручье ноги. Что-то вцепилось мне в палец, стало больно. Я поставил стопу на берег. С большого пальца свисал рак. Все сбегались и принялись его разглядывать. Я больше удивился, чем обрадовался, что поймал рака.

- Представь себе, - зубоскалил лупоглазый Валера, - что ты присел в ручей голышом, освежиться в жару, а рак вцепился тебе в... в... Вот ты бы взвился!

- Ты уже себе это представил, друг Валера, - сказал я и совсем его обескуражил. – Давай поглядим, есть ли в ручье еще раки. Это посущественнее того клада, который ищут Дима и Рита.

- Ой ли? – не согласился лупоглазый Валера, но в ручей ступил охотно, а я – за ним. Мы извлекли еще с десятков раков, из-под коряг и камней; охотничий зуд разогревал нас. Мы увлеклись и не заметили, как к нам присоединились Дмитрий и его разбитная девица. Платье на Рите сидело немного не так, как прежде. Смутная улыбка надолго приклеилась к ее губам. Про клад мы их не спросили. Они могли найти его и перепрятать, но мы не спросили и об этом. Невидимый, он мог быть с ними, и это было бы лучше всего. Было бы хуже, если бы, найдя его, они быстро его потеряли.

Дмитрий тоже стал ловить раков, и то ли сноровка сказала, то ли подфартило парню, но он удивительно быстро извлек на белый свет целых двадцать штук – нам в назидание. Майка с раками раздулась, как баскетбольный мяч.

- А ты везунчик! – сказал мне Валерий. – К тебе к первому прицепился рак.

- Сегодня все мы везунчики! – сказал я. – Но особенно повезло Диме и Рите.

- Ты так считаешь? Но им мы об этом не скажем, ладно? Внимание, внимание! Пора и честь знать!

Пора домой! Не люблю переться в сумерках!

Кажется, мы возвращались другой дорогой. Вокруг было больше подсолнухов и кукурузы.

- Узбеки – кто они? – вдруг поинтересовался Дмитрий. – Как вы с ними живете-ладите?

- Живем и ладим, это не трудно, - сказал я. – У них нет к нам неприязни, русские сделали для них очень много. Они трудолюбивы и добры. Но они другие, из другого мира, это я себе уже уяснил. У них свое прошлое, им дорогое, своя культура. Они люди из другого мира, это несомненно.

- Так вы как бы сосуществуете? – удивился Дмитрий.

- Не как бы, а действительно сосуществуем. Царь селил русских отдельно, на свободных землях и на землях, выкупленных у хозяев. Выкупленных, не конфискованных. Так что конфликтов на почве несовместимости не возникало. Ведь селил царь русских отдельно для того, чтобы они не мешали узбекам жить по их законам и обычаям. Люди разных национальностей и разного вероисповедания жили отдельно, и никто никому не мешал. Война этот обычай нарушила. Но в нашем чисто русском районе близ вокзала и сейчас очень мало узбеков. В нашей школе их нет вовсе. Я встречаю их только на базаре, и все они говорят по-русски.

- И как они живут?

- На земле и от земли. Они прирожденные земледельцы. Еще они любят торговать. К порядкам на заводах, к жесткой дисциплине привыкают долго и тяжело. Мужчины у них замечательно готовят и все как один готовы работать продавцами или водителями. Мужчина в узбекской семье – это работник, он зарабатывает. Женщина воспитывает детей, которых обычно много. Семья и для мужчины, и для женщины – главное, первостепенное, куда главнее, чем нужды государства. Наверное, по этой причине патритов среди узбеков практически нет. Свадьба, рождение ребенка, юбилей, похороны – это все торжественные мероприятия, на которые непременно должны прийти все соседи, а это часто пятьсот человек и больше. И многие голодают годами, а свадьбу справляют пышную, по всем правилам, с артистами, с островами, которых все обожают. У соседа нельзя украсть, за это раньше отрубали руку, и многие в узбекской части Ташкента до сих пор не запирают свои дома, в этом нет нужды.

- А у государства украсть можно? – спросил лупоглазый Валера.

- Это, как везде. Государство никаким особым почетом и уважением у узбеков не пользуется, и по этой причине взять без отдачи у государства не возбраняется.

- Ты еще вот что скажи, - попросил Дмитрий. – С русскими узбекам лучше, чем без них? Они с нами от души идут вместе или по принуждению, как все эти латыши с эстонцами и западные украинцы?

- Наверное, и так бывает, и так, узбек узбеку рознь. Есть узбеки, которым советская власть дала многое, а есть узбеки, у которых советская власть многое отобрала, и они затаились, поруганные и обездоленные. В целом же, узбеки получили автономию и развиваются куда быстрее, чем их соседи, персы и афганцы. У афганцев, говорят, до сих пор настоящее средневековье, и они за него держатся. Только в первый год войны в Ташкент было эвакуировано больше ста заводов. Все они у нас и остались.

- Скажи, а у тебя есть друзья-узбеки?

- Я живу в чисто русском районе, - повторил я. Но умолчал о том, что почти не знаю узбекского языка; это совсем не делало мне чести.

Перед тем, как зайти домой, мы еще поплавали в Сейме. Я пробыл в воде, наверное, полчаса, до появления комаров, и из меня выветрились последние остатки самогона. Заметила ли что-нибудь тетя Саша? Кажется, нет. Мое возбужденное состояние после продолжительных водных процедур заметно пошло на убыль. Когда мы вошли, она о чем-то шепталась с Полиной Васильевной, и перед ними стояли чашки с чаем, блюдце с сахаром и блюдце с кишмишем.

- Наконец-то! – в один голос воскликнули обе женщины, и на ужин нам были предложены борщ и жареная картошка. Раков мы сварили, но съели их, красненьких, только утром, а запили молоком. Никогда прежде я не ел раков. Их мясо не похоже ни на куриное, ни на какое другое, оно нежнее. И еще оно совсем белое и пресное. Зато по содержанию белков оно впереди любого другого мяса.

Какое-то время у нас ничего не происходило, и жизнь напоминала размеренное движение по наезженной колее. А потом приехали наши двоюродные сестры Ирина и Светлана со своим мужем Шурой, точнее, Александром Николаевичем Илиади. Светлана была младшей дочерью Михайловских – тети Юли и Бориса Георгиевича, известного рентгенолога. Она пошла по стопам отца и тоже стала врачом-рентгенологом. Но замуж вышла, не получив благословения отца, нарушив его волю – за грека (или полугрека) Александра Илиади, красавца-бородача, победителя фашистов. Правда, у красавца Илиади был один изъян, очень существенный – его контузило, и временами ему отказывали ноги. Это лечению не поддавалось, передвигался он, зажав под мышками костыли и сильно напрягая мышцы рук, и в один прекрасный момент ноги могли отказать Шуру навсегда. Кроме того, у грека Илиади, как у всех одесситов, имелась некоторая примесь еврейской крови, что антисемиту Борису Георгиевичу не нравилось еще больше, чем его контузия.

Борис Георгиевич патологически не жаловал евреев, и они отвечали ему полной взаимностью. Поэтому в любом медицинском институте Михайловский долго не задерживался, еврейская среда выдавливала его, как тело инородное и неприятное. И каждые три-четыре года Борис Георгиевич менял место работы и город, так как только в Москве было два медицинских института, но в них Михайловского почему-то не приглашали.

Когда Светлана вышла замуж за Шуру, она столкнулась с таким сильным противодействием отца, что была вынуждена оставить родной дом. Она еще училась. Илиади приехали сначала к нам в Ташкент и какое-то время жили у нас, потом перебрались во Фрунзе, а оттуда – в Курск, где и были прощены грозным родителем, который счел за лучшее сменить гнев на милость. Сын Андрей вскоре у них родился. Светлану я запомнил, как женщину не столько красивую и статную (было и это), сколько волевою, как и ее отец, знающую, чего она хочет и как этого добиться.

Александр Илиади был статен и пригож, и умен в придачу. Он был не просто умен, а очень умен. Но костылями пользовался почти всегда. Большая черная борода, предмет его особой гордости, делала его похожим на дядьку Черномора. Одно время он писал пьесы, но режиссеры в один голос сказали ему, что пишущих пьесы на таком уровне, на каком пишет он, очень много, и на этом поприще ему не выдвинуться никогда. С этим отзывом ему пришлось согласиться. Он начал преподавать философию в педагогическом институте, загорелся, вник – и преуспел. Здесь его весомое слово падало на благодатную почву, здесь он был на коне, и на его лекции приходили и те студенты, для которых они не предназначались. Слава о нем уже была, и он дорожил ею. Он уже писал кандидатскую диссертацию, а Светлана работала практическим врачом и судьбой своей была довольна.

Они сняли комнату неподалеку от нас, купались в Сейме и катались на лодке мы вместе. Ира же стала жить с нами. Она привезла с собой учебники и готовилась к собеседованию. Плавала она плохо, делала массу лишних движений и терялась и бледнела, если не могла достать ногами дно. Тете Саше она помогала в стирке и мойке посуды; тетя обращалась с ней, как со взрослой. Светлана и Александр ужинать приходили к нам; Света говорила, что не умеет готовить так вкусно. Да и за компанию было веселее. Скорее же всего (к этому выводу я пришел несколько позже) ей не хотелось возиться у дровяной плиты. А тетя Саша, на мой взгляд, готовила обыкновенно, без каких-либо изысков, как бабушка. Изыски в области кулинарии были не по ее части. Борщ, суп гороховый или фасолевый, кавардак, жареная картошка, яичница, каша рисовая или гречневая, салат из огурцов и помидоров – вот тот перечень блюд, за который она не переступала.

Светлана, вслед за дядей Алоизом, обследовала тетю Сашу и сказала, что сердце у нее расширенное и дряблое, изношенное, а в сосудах есть бляшки, и ей нельзя ни волноваться, ни переутомляться. Бляшки, если они придут в движение, могут закупорить сосуды в сердце или в голове, и тогда человеку наступает конец. Тетя Саша в ответ на ее диагноз грустно кивнула: сама знаю, что сильно поизносилась. По ней катком прошли голод на Украине сразу после коллективизации, и война. Света прописала ей какие-то таблетки и капли, и тетя незамедлительно приобрела их в сельской аптеке, которой по ассортименту могла позавидовать любая городская. Когда мы собирались все вместе, как большая дружная семья, тетя Саша расцветала; у нее было доброе сердце, а общение действовало на нее благотворно. И я говорил себе, что сам должен быть добрее к ней и внимательнее. Ну, почему жизнь не наградила ее своими детьми? Почему жизнь была к ней так несправедлива?

Однажды, когда дул ощутимый ветер, я взял с собой в лодку простыню, встал на сидение и расправил простыню, широко расставив руки. Ветер тотчас ее наполнил, простыня стала парусом, меня качнуло, я напрягся, но устоял; лодку понесло вперед на удивление быстро, ее нос с клекотом рассекал воду. Оля сидела на корме, управляла веслом и улыбалась: такой скорости мы еще не достигали, даже если я работал веслом в полную силу. Ира восседала на носу, ее волосы развевались. Подле носа образовался бурун, и она громко смеялась, приветствуя нашу удачу. Юре тоже нравилось, что мы плывем, как будто у нас появился свой мотор. Мы отплыли далеко от дома, а я все стоял с распростертыми руками, удерживая наполненную ветром простыню. С берега нас провожали восхищенными взглядами: смотри, догадались! Потом мне пришлось долго грести назад, навстречу ветру, и с меня сошло пота не меньше, чем на горной тропе.

Светлана рассказывала про своих больных, какие они капризные и обидчивые, особенно старики, и как трудно им угодить. Ни дядя Алоиз, ни тетя Рита не называли своих больных капризными и обидчивыми. Хуже

всего было, когда они надеялись, а она ничего не могла для них сделать и только говорила им успокаивающие слова. То же самое говорил о своих безнадежных раковых больных дядя Алоиз, но боли и несогласия в его голосе было больше. Они верили ему, и он обнадеживал их до самого последнего часа. А что еще оставалось ему делать? Тетя Рита попрекала Алоиза: «Ну, зачем ты привязал себя к онкологическим больным? Они уходят один за другим и сокращают твои дни! Ведь ты так за них переживаешь!»

А Шура своей работы почти не касался, своих философских теорий нам не излагал, но любил обсуждать новинки литературы и кино. Он высоко ставил Ильфа и Петрова, и еще Булгакова. Для меня это было новое имя, ничего из его вещей я не читал. «Тихий Дон» Михаила Шолохова я тоже ставил высоко, причем меня удивляло, что в этой книге правда белых не посрамляется, но уступает правде красных, как силе очень крутой, за которую встала большая часть народа. Григорий Мелихов так и не стал красным в душе, но, обездоленный и всего лишенный, стал гол, как сокол, в бесконечном своем одиночестве.

Шура мечтал читать лекции в Московском государственном университете, спал и во сне видел себя преподавателем этого университета. Он познакомился с моим дядей по отцовской линии, Сергеем Кузьмичом, доктором экономических наук и заведующим кафедрой в этом университете, чтобы заручиться его протекцией. Он очень хвалил Сергея Кузьмича, лекции которого пользовались широкой известностью. Но между ним и отцом еще до войны пробежала черная кошка, и они поссорились и перестали общаться. Отец очень уважал первую жену Сергея Кузьмича тетю Лелю, и когда Сергей Кузьмич оставил ее ради другой женщины, не простил ему этого. Сергей Кузьмич посчитал, что его младший брат полез не в свое дело, и прекратил с ним отношения. А до этого момента они были исключительно дружны.

Когда в 1919 году в Минске, где проживал отец, в течение недели умерли от дизентерии его мать и три старших сестры, отец, оставшись один-одинешенек, пешком отправился в Москву, к старшему брату, который был тогда членом президиума партии социал-революционеров (эсеров), разыскал его, и Сергей Кузьмич оказал ему всю необходимую помощь и поддержку. Отцу было тогда двенадцать лет. По дороге в Москву он просил подавание. И потом он всегда подавал нищим, он считал это богоугодным делом, хотя, как член партии, не должен был верить в Бога.

Помог ли Шуру Сергей Кузьмич, не знаю. Вполне возможно, что помог, ведь Шура был не только волевой человек, но и способный. Пройдет время, и Александр Николаевич Илиади, прочно обоснуется в Московском университете. По отдельным штрихам я понял, что тетя Саша не очень-то жалуется Шуру. Ей не нравилось его гипертрофированное честолюбие, она считала его нескромным. Шура же полагал, что общество и государство премного обязано ему, инвалиду войны, и широко пользовался тем, что именуется общественными благами. После отдыха в Теткино у него намечался другой отдых, на одном из Сочинских курортов; путевка уже была у него на руках, и она ему ничего не стоила. Костыли подчеркивали его инвалидность, и он с ними не расставался. «Я инвалид, дорогу инвалиду!» – это было написано на его лице, когда он оказывался в каком-нибудь людном месте. В хвост очереди он никогда не становился, сразу устремлялся к ее голове, и попробуй кто-нибудь запротестовать! Когда он будет менять курскую квартиру на московскую, его инвалидность вновь сослужит ему добрую службу – он использует ее на все сто процентов.

В нашей семье было принято вести себя скромнее и все очереди выстаивать до конца. Своими привилегиями фронтовика, а позже – доктора наук отец пользовался крайне редко. Мать тоже не любила нахрапистых людей, которые очень полагались на свой громкий голос, на свои локти. К ним, помимо Шуры, она относилась и Александра Сергеевича Скобелева. Не популярным был у моих родителей и антисемитизм Бориса Георгиевича Михайловского, хотя еврейских корней у себя они не обнаруживали. Мои родители равно уважали все национальности. При переезде Михайловских в очередной город отец говорил: «Евреи опять выдворили нашего антисемита, – и когда он угомонится? Когда увидит, что Господь Бог не дал ему никаких преимуществ перед людьми другой национальности? Боюсь, очень боюсь, что у него не хватит ума увидеть это».

Наверное, если бы мы хорошо знали свою родословную, мы бы и у себя нашли хотя бы небольшую примесь еврейской крови. Но я знал только четырех своих предков, бабушку Марию Мартыновну и дедушку Якова Ивановича Рисслингов (материнская линия), бабушку Олимпиаду Ивановну и дедушку Кузьму Феликсовича (отцовская линия). А далее начинался мрак беспросветный. Родители почему-то не просвещали меня на этот счет, а я не проявлял любознательности. Бабушка однажды сказала, что ее предки были рурскими немцами, которых Екатерина пригласила на Украину, освобожденную от турок. Отец же обмолвился, что среди его предков были поляки, а Олимпиада Ивановна происходила из обедневшего княжеского рода Свяжских. Но в советское время приветствовалось рабоче-крестьянское, а не какое-либо иное происхождение, и отец никому не говорил, в какую сторону простирались генетические корни его матери. Поэтому я принял к сведению княжескую линию в своем прошлом, но несколько ею не возгордился. Возможно, узнай я подробности, я бы и возгордился ею, но с ними отец меня не познакомил.

Светлана мне была более понятна, чем Ира. Полюбила, вышла замуж, преодолела препятствия, когда они возникли, а далее настаивала на своем и добивалась своего, как только в этом возникала необходимость. Родила сына и хочет, чтобы у них еще были дети. А чего ждала от жизни Ира, о чем мечтала? Эту область своей жизни она оберегала, держала за высоким каменным забором. Да и кому ей было поведать об этом, кому довериться?

Мне? Смешно – мы познакомились совсем недавно. Тете Саше? Тут нужна была подруга-одногодка, не наставница. Светлане? Но ее двоюродная сестра была большой прагматик и романтические нюансы не считала аргументами, заслуживающими доверия. И она привычно затворялась в себе. Взгляд ее часто устремлялся в никуда, - она парила, мечтала. Влюблялась ли уже Ира? Скорее всего, да; кто не влюбляется в старших классах? Но в эти ее чувства не была посвящена даже ее мать. Почему она выбрала тот институт, который окончила Муся? Наверное, по настоянию отца.

Светлане нравилось наставлять ее: «Ирочка, тебе надо быть смелее, решительнее! Если, конечно, тебя не привлекает участь старой девы. Чего ты стесняешься, чего комплексуешь? Ты умна и красива, и тебе есть из кого выбирать. Только не вбей себе в голову, как это в свое время сделала Муся, что брак – это узаконенная проституция. Если женщина остается одна, значит, ее жизнь не состоялась. Одиночество – это тупик, это трагедия. Это против законов природы. Природа наказывает за нарушение своих законов очень жестоко, обрекая на равнодушие ко всему и вся, на чувство неполноценности».

Ирина краснела и кивала. У нее от подобных назиданий краснели не только щеки, но и лоб, подбородок, шея. Даже уши розовели. «Да не красней ты, как будто отец застал тебя в постели с молодым человеком! Рафинированная ты девица! Пойми, что стеснительные и стыдливые сейчас не добиваются ничего, их все обходят, их подруги втихую пользуются их парнями. Если что-то стоящее идет тебе в руки, хватай и не раздумывай!» - наставляла ее Светлана. Поступала ли она, в своем недавнем прошлом, именно так? Не думаю. Едва ли. Значит, эти советы были не из ее практики. Хотя...

Что бы я сделал, если бы все эти слова были обращены ко мне, тоже стеснительному и стыдливому? Пропустил их мимо ушей или крепко запомнил? Но зачем их запоминать и мотать на ус, если они не для меня? Ира поступила точно так же, она не приняла эти очень полезные советы. Неправильно она поступила. Но пройдет много лет и она состарится в одиночестве, пока, наконец, поймет, что плохих и неисполнимых советов Светлана ей не давала. Но тогда что-либо предпринять уже будет поздно, поезд уйдет. И она заполнит свой дом кошками и будет с ними коротать свой век.

У111

Прошло дней десять, в течение которых мы только и делали, что плавали, катались на лодке, ходили в ближний березовый лес, искали там грибы, но мало чего находили – сушь стояла, а грибы не любили сухого лета, снова плавали и снова катались на лодке, а ближе к вечеру играли в лапту. Лес, река и лапта поглощали все наше время. А я еще вместе с Димой продолжал разбирать шпунтовую стеночку. Не то чтобы это нравилось мне, но Диме в помощи я не отказывал. Теперь я знал, как это делается, и в нужный момент напирал на лом всем своим телом. Мы выдернули, наверное, еще свай двадцать. Один конец двора Полины Васильевны был весь занят сваями, которые сушились. И тут из Львова приехала старшая сестра Светланы Муза Борисовна с мужем Анатолием Консуловым. Оба они были архитекторы.

На сестру Муза походила мало. Прежде всего, она была представительнее, красивее. Вальяжнее, что ли. Респектабельнее. Затем, в ее натуре явно преобладало розовое и обаятельное романтическое начало. Она могла увлечься чем-нибудь абсолютно абстрактным и не спрашивать себя: «Что я буду с этого иметь?» Могла воспарить и цекликом довериться воздушному потоку, который ее несет. Не с сестрой, но с тетей Сашей проводила она большую часть дня, и шептались они доверительно и очень мило. Тетя Саша преображалась прямо, так ей это нравилось. Сестру она изучила вдоль и поперек и новых открытий не ожидала. Она помогала тете Саше готовить, и это не было ей в тягость. Только завтракали Консуловы у себя, а обедали и ужинали у нас. Это заставляло и Илиади больше времени проводить с нами.

Анатолию было лет тридцать пять, худоба словно придавала ему росту. Он любил ходить в окрестные рощи, фотографировать и рисовать. Его фотографии бесподобно передавали рассветы и закаты. Снимая человека, он словно высвечивал его изнутри, а пользовался простенькой камерой ФЭД, которая редко устраивала профессионалов (это я пойму позже, когда стану работать в газете с прославленными фоторепортерами). Его пейзажи прекрасно высвечивали то или иное состояние природы. Лучше всего у него получались закаты – солнце, уходящее на покой. Даже Светлана, не очень-то любящая подчеркивать достоинства других людей, сказала, что у Анатолия художественная натура, талант, большей частью не востребованный. Шура тоже почувствовал это и быстро нашел с не очень-то общительным родственником точки соприкосновения. Ни архитектурных, ни философских тем в своих разговорах они не касались, никто из них не хотел выглядеть дилетантом в глазах другого. Но схватиться и поспорить на тему политическую или внутрихозяйственную они любили, причем в Шуру быстро просыпался спорщик заядлый, типа волкодава.

Однажды темой их спора стал 1941 год, начало войны, крайне для нашей страны неудачное. Анатолий утверждал, что миллионы советских солдат сдались в плен потому, что у них были плохие командиры, а Шура – что они своей сдачей в плен отомстили стране, которую не любили, за революцию и передел собственности, и за колхозы, которые Шура считал вторым переделом собственности, - она тоже поломала судьбы миллионов.

И первое, и второе для меня было новостью, чрезвычайно интересной. «Как это – миллионы советских солдат сдались в плен в 1941 году? – думал я. – Неправда это! Навет! Наши никогда не сдавались в плен целыми армиями!» Но правдой было не то, что наши не сдавались в плен дивизиями, корпусами и армиями, а то, что наши учебники истории об этом умалчивали. Позже я узнаю, из мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна, что лишь во второй половине сентября 1941 года немцы взяли в плен 600 тысяч советских солдат и офицеров под Киевом и столько же – под Вязмой. Фронт рухнул, немцы оказались под Москвой и на Дону, и потребовались титанические усилия, чтобы остановить их и отбросить. Но их все-таки остановили и погнали прочь. 1,2 миллиона пленных за двадцать дней войны – это одна четвертая часть действующей армии! И я понял, что нормальные солдаты с нормальными командирами такими массами в плен не сдаются. Такими массами в плен сдаются солдаты и командиры, недовольные своей страной. Значит, они считали, что быть под немцами не хуже, чем быть под Советами. Через полгода новые солдаты так считать уже не будут, и все переменится. При том же оружии армия сначала остановит немцев, а потом погонит их туда, откуда они пришли. И так погонит, что мало им не покажется.

Анатолий сделал прекрасные портреты Ирины и тети Саши. Он показал самопогруженность Иры, ее замкнутость на себя; эти черты характера могли создать ей проблемы. В глазах тети Саши легко прочитывались одиночество, очень ее удручавшее, и приближение последнего часа, финала, к чему она относилась вполне стоически. Ее личная жизнь прервалась давно, а продолжалась жизнь совсем другая, которую старики называют доживанием. Поблагодарив за свой портрет, тетя Саша грустно улыбнулась – и положила его на самое дно чемодана. Значит, ей не хотелось смотреть на себя, такую погасшую. А Ира свой портрет поместила в рамку и повесила в гостиной. Ей нравилось, что портрет навсегда запечатлел ее восемнадцать лет, ее надежды и парения. В свои надежды она очень верила, но оглашению они не подлежали.

Муза и Анатолий проектировали много, а строили по их проектам мало, и это их обижало, а часто и обескураживало. Они старались, они такое придумывали – себя превосходили, но почти все их изыски оставались на бумаге. Невостребованных проектов становилось все больше, и они недоумевали, почему торжествует серость, а их красота лежит и пылится на полках. Им очень не нравились унылые кварталы массовой застройки, и не нравилось так называемое типовое проектирование, тиражированное посредственностью в тысячах экземплярах. Еще мне запомнилось, что Муза несколько раз пожаловалась на львовских националистов. Житья от них нет, бендеровцев недобитых, говорила она – ко всему придираются и всем советским недовольны, а более всего недовольны тем, что я, Михайловская, плохо знаю украинскую мову и согласна с засильем москалей. Они, по ее мнению, и ставили ей и супругу палки в колеса. Они делали это с иезуитской изощренностью.

Один раз мы пошли вместе по грибы в далекую березовую рощу. Нагрузка на ноги выпала большая, а корзинки наполнились чуть-чуть. Зато Анатолий от души снимал березы и лесные поляны, полные васильков и ромашек. Ромашковые поляны были бесподобны (через четверть века Оля запечатлит, с помощью фотоаппарата, на такой поляне мать и отца, поразительно довольных жизнью, и это будет лучшая из оставшихся после них фотографий). Мы даже огонек разожгли на одной из полян и славно перед ним посидели.

Кульминацией нашего пребывания в селе Теткино стал приезд тети Юли и Бориса Георгиевича. Они дали телеграмму, и мы встретили их на станции. Статные они были и ухоженные, не чета всем прочим. Борис Георгиевич посчитал ниже своего достоинства идти пешком по пыльному проселку, да еще с тяжелым чемоданом, и нанял автомобиль. Пусть автомобиль был обыкновенной полуторкой, разболтанной и немойтой, но у предусмотрительного водителя оказалась лесенка, по которой в кузов легко могла подняться женщина любого возраста. Борис Георгиевич галантно усадил в кабину тетю Юлю, помог взойти по этой лесенке в кузов тете Саше, потом дочерям, поднялся сам, а мужчины и мы, подростки, вскарабкались в кузов обычным способом, по колесу и через борт. Стоя в кузове, приятно было сознавать, что мы не какие-то там пешие и не ковыляем по глубокой пыли.

- Это не Южный берег Крыма, - сразу сказал Борис Георгиевич после оценки обстановки, но Сейм ему понравился. Никто не докучал ему, когда он плавал, отнюдь не демонстрируя совершенный стиль кроль или брасс, и когда загорал на песке, погрузив в него свой выпуклый животик и подставив солнцу белую нежную спинку (песок был не везде чистый после недавнего прохождения коров). Борис Георгиевич (между собой мы называли его дядя Боба) любил быть центром притяжения. Когда он говорил, другие обязаны были внимать и мотать на ус. Аплодировать тоже не возбранялось. Шестидесять дяде Бобе уже исполнилось, а тетя Юля была двумя годами моложе тети Саши, выглядела же лет на десять моложе; тяготы, выпавшие на долю старшей сестры, ее счастливо обошли стороной. Издалека было видно, что ее жизнь не изобиловала трудностями и крутыми поворотами.

Дядю Бобу в войну по возрасту на фронт не призвали, и три военных года Михайловские прожили в Ташкенте. Затем Борис Георгиевич поехал восстанавливать львовский медицинский институт, но к первым ролям его там не допустили, сочли слишком прорусским. Он был хорошим врачом, но тетя Саша сказала, что дядя Алоиз, как врач и диагност, лучше, хотя не доктор медицинских наук и не профессор. И Маргарита Андреевна лучше. Достоинства в Борисе Георгиевиче было очень много, оно прямо выпирало из него. И велеречивость из него выпирала. И тетя Саша все время смотрела на него снизу вверх, во всем ему угождала. А как вела себя тетя

Юля? Далеко не так, как тетя Катя с Александром Сергеевичем. Чувствовалось, что муж ценит и любит ее и готов на руках носить, но не при посторонних. За своим именитым мужем она была, как за каменной стеной, и это, конечно же, отразилось на ее характере.

В войну Михайловские нам помогали, мать это прекрасно помнила. Но Александр, сын Сигизмунда и Олин ровесник, почему-то оказался на попечении нашей семьи, а не семьи дяди Бобы. Значит, Борис Георгиевич был против, а тетя Юля не стала его переубеждать – знала, что бесполезно. И что с того, что достаток ее семьи был много выше? Дядя Боба не захотел, чтобы у него под ногами крутился какой-то племянничек, и точка. Работала ли тетя Юля в войну? Да, рядом с Борисом Георгиевичем, лаборанткой. К нам они приходили редко, а мы к ним еще реже. Шура был почтителен с родителями жены, всячески подчеркивал главенствующее положение Бориса Георгиевича, но если выпадал благовидный предлог куда-нибудь отлучиться, делал это с удовольствием. Шура говорил более образно и живо. Остроты дяди Бобы новизной не отличались, анекдоты он тоже пересказывал заезженные, известные даже мне. Как лектор, Шура был выше Бориса Георгиевича. Но Боже упаси было ненароком обмолвиться об этом в присутствии тети Юли и даже Музы, они бы смертельно обиделись.

Михайловские-старшие пробывли с нами дня четыре, затем отбыли на Южный берег Крыма. Борис Георгиевич привык отдыхать с удобствами, в кругу таких же мастодонтов от вузовской науки, как он сам, и я знал, что в санатории ему и тете Юле будет лучше, комфортнее. За ними вскоре отбыли Консуловы, которых ждала работа. Светлана и Шура никуда не спешили, Курск, ставший им промежуточным домом, был рядом. До их передислокации в Москву оставалось еще несколько лет.

Я, наконец, научил Юру плавать. Но Оля держалась на воде куда лучше, и Юре было кому подражать. С Димой мы выдернули еще метров двадцать шпунтовой стеночки. В пересчете на шпунты это было, наверное, штук восемьдесят. Конкурентов у него так и не появилось. Но близко с ним я не сошелся, другие наши интересы не совпадали, и нам часто не о чем было говорить. Я скучал без Валентина и Геннадия: вот их мне очень недоставало. В сельский клуб мы сходили раза два, на хорошие фильмы. Тете Саше там не понравилось: грязно и некультурно, лузг семечек заглушает звук, и пьяные на каждом шагу ржут и матюкаются. Наш парк железнодорожников не шел ни в какое сравнение со здешним очагом культуры, там к новым фильмам относились благоговейно, и никто не комментировал вслух содержание фильмов.

А Сейм был великолепен в любое время дня и ночи: ныряй и плавай, сколько хочешь, или садись в лодку и гребь в свое удовольствие, правь к березовой роще или к ромашковому лужку. В саду и огороде нам тоже всегда находилось занятие. Тетя Саша даже сказала с некоторой обидой, что если бы я так же помогал дома бабушке и ей, как стараюсь для Полины Васильевны, матери и отцу это очень понравилось бы. Наверное, она была права; дома на мне лежал минимум обязанностей, и я делал все возможное и невозможное, чтобы их не становилось больше. Ну, воду я приносил (пятьдесят метров до колонки), ходил на базар, а зимой топил печь-контрамарку. Ну, полы мыл, но не каждый день. И все, и все.

- Учту, тетя Саша! – пообещал я.

Бутылка грузинского вина появилась вечером на столе в канун нашего отъезда. Полина Васильевна искренне сожалела, что все кончилось так быстро. Мы сожалели не меньше. Но срок истекал, к середине августа мы хотели быть дома. Провожала нас Полина Васильевна всем своим семейством. Дмитрий нес чемоданы, Оксана шла под ручку с Ольгой.

- Знаю, что не приедете следующим летом, а я вас так полюбила! Как родных полюбила! – щебетала Полина Васильевна. – Видит Бог – насовсем бы оставила и платы не взимала!

Тетя Саша припала к ее груди и расцеловала, как сестру свою младшую. И слезу уронила. Все здесь ей нравилась, ведь большая часть ее жизни прошла неподалеку, в соседней Украине, природа которой ничем не отличалась от здешней. Уж она точно знала, что еще раз эти благословенные края не посетит, что это последний ее выезд в большой свет. Подошел поезд, вобрал нас в себя, дал гудок и понес, помчал! Прощай, село Теткино, прощай, река Сейм! Прощай, срединная Россия!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как я оцениваю проведенное в Теткино лето спустя более чем полвека? Увы, я вспоминаю о нем совсем не часто. Все его яркие моменты стерлись в памяти и ужасно отдалились. На мою жизнь, на жизнь сестры и Юрия оно оказало влияние мимолетное. Но Сейм, всегда готовый распахнуть нам свои объятия, запал мне в душу, и ширь полевая запала – она ассоциировалась с российскими просторами. И крепыша Диму, завтрашнего первого парня на деревне, я запомнил. Как взбугрялись и трепетали его бицепсы, когда он вытягивал дубовый шпунт из вязкого дна Сейма! А работающая Полина Васильевна и улыбчивая Оксана забылись, заслоненные другими образами, и я уже не мог вспомнить, как они выглядели, как ни напрягал память.

Вникли ли мы тем летом в колхозную жизнь? С самого краешка. Ее глубины и противоречия остались под спудом, наш взор не проник в них. Возвратившись в Ташкент, я сказал себе, что лучше бы опять пошел с Михаилом Константиновичем в горы. Ребята были в восторге от маршрута, который на сей раз пролегал по высокогорью, от ночевки у кромки вечных льдов, под близким звездным пологом, от озера, рядом с которым

били горячие источники. Я считал, что потерял больше, чем приобрел. С многочисленной нашей родней, с Москвой и Ленинградом я мог познакомиться и позже. Но это свое мнение я крепко держал в себе, ведь родителей оно очень обидело бы.

Потекли годы. Время сеяло, и время собирало свою обычную жатву. Первым покинул бранный мир с его частыми катаклизмами дядя Алоиз, сразу за ним ушла тетя Саша. Ее слабое сердце остановилось в промозглый февральский день, и замерли, потухли ее глаза, неизбежно печальные. Вот они – дядя Алоиз, тетя Саша, мать, отец и Муся, запечатленные на моей любительской фотографии, сделанной в феврале 1960 года. Ничто не говорит, не предвещает, что час дяди Алоиза пробьет через месяц, а тети Саши – через год. Они рады встрече, они спешат улыбнуться друг другу, и спешат высказаться, излить свои эмоции. Именно спешат, потом уже будет поздно.

Долго не прожил и Александр Сергеевич, за ним тихо и скорбно сошла со сцены жизни славная тетя Катя. Вскоре пришла телеграмма о кончине Бориса Георгиевича. Тетя Юля пережила его на несколько лет, но очень сдала; жизнь потеряла для нее смысл. Упала на ровном месте и сломала ногу моя бабушка Мария Мартыновна. Нога не срасталась, старухе уже было девяносто. Со сломанной ногой она пролежала восемь лет. Ее мозг сдал прежде, чем сердце, и это было ужасно. Она звала давно умерших детей, Алоиза и Сашу, а мою мать, которая наклонялась над ней и спрашивала, что ей подать, огорошивала вопросом: «Ты кто?» Моя мать была ее девятым и последним ребенком. Когда бабушка, наконец, вытянулась и успокоилась на своем несвежем ложе, я почувствовал облегчение. Вместе с ним пришло и понятие, что слишком задерживаться на этом свете не есть хорошо. Ее тоже похоронили на Боткинском кладбище, рядом с дочерью – тетей Сашей.

Потом пришло известие о смерти Маргариты Андреевны Коняхиной, вдовы дяди Алоиза. Спился и рано, при живой еще матери, ушел из жизни Юра. Плотно опекаемый тетей Сашей и матерью, обремененный в школьные годы скрипкой, а в последующие годы – запретами не делать того-то и того-то, он ничего не достиг, не построил семьи. Детей после него не осталось. Он только пил беспробудно, и водка его погубила. А было ему всего тридцать восемь лет. Муся рыдала над его телом, сухим и почти прозрачным, и зло бросала нам: «Ненавижу!» Как будто мы тоже были виноваты в его раннем уходе. Да, мы старались остановить его, но из этого ничего не получилось.

В свой час занавес опустился за каждым представителем старшего поколения. Страшно тяжело было провожать в последний путь отца, потом, через три года, мать. На кладбище, у их могил, я не находил с ними общего языка, но разговаривал с ними, как с живыми, в тихие предутренние часы. Мы с Ольгой похоронили их рядом, а памятники поставили разностильные – я думаю, родители простят нам это. Последней ушла Муся (произошло это в 1987 году), и из старшего поколения не осталось никого. Она ушла, несчастная-несчастливая. Она всю жизнь была несчастная, а перед смертью ее несчастье обнажилось и стало большим-большим. Но очередное доброе дело она сделала и перед смертью – приняла семью моей старшей дочери Ирины, оставила ей свою квартиру. Муся попросила, чтобы на ее памятнике было написано: «Последняя из достойного поколения». И мы исполнили этот ее завет.

Ушли из жизни мужа Музы и Светланы, и рано ушли, не добрав до семидесятилетнего рубежа. Умерли, никого после себя не оставив, брат и сестра Скобелевы – Владимир и Ирина, всю жизнь прожившая одна. Причину ее одиночества я так и не понял. Сама она искренне считала, что на их семью легло проклятие свыше – за участие Александра Сергеевича в расстреле мальчишек-юнкеров, которые сдались в плен красным при штурме Кремля. Квартира Ирины перешла к Светлане – она очень этого хотела и добилась своего.

А сестры Михайловские жили и здравствовали, как и их дети. Музе Борисовне уже было за восемьдесят, и ликом она все более походила на бабушку Марию Мартыновну, груботесаную, но чрезвычайно жизнестойкую. Светлана еще работала, хотя и отметила свое семидесятипятое. Ее независимость в материальном плане от детей ей нравилась, и она ее оберегала. Ни с Музой, ни со Светланой мы с Ольгой не сблизились; наши жизненные интересы не совпадали, да и виделись мы очень редко. Ольга с мужем Радиком и сыном Александром на рубеже тысячелетий уехала в Ленинград, который снова стал именоваться Санкт Петербургом. В Ташкенте остались только я и Валентина, моя жена. И дорогие нам могилы. Ташкент нравился нам, и мы не собирались его оставлять. Мы полагали, что ляжем в эту землю, любимую нами, поблизости от дорогих нам могил. Хотя дочь наша Леночка, давно ставшая американкой, звала нас к себе, и все настойчивее.

Да, а чего я достиг, к чему пришел? Я чего-то достиг на литературном поприще, но не многого. Большая часть из написанного мною оставалась невостребованной. Не скажу, что я не переживал по этому поводу – а что я мог изменить? Решительно ничего. Я знал, что вскоре занавес опустится и за мной, как он опустился за моими родителями. Моим самым большим достижением в этом мире были дети, дочери Надежда, Ирина, Анна и Елена и сын Петр. У Нади и у Анны не все ладилось в этой жизни, их претензии часто повисали в воздухе, ничем не подкрепленные, и дефицит человеческого тепла и участия сказывался на их душевном состоянии и на их судьбе. А у Ирины, Елены и Петра все обстояло хорошо или относительно хорошо. И мы с Валентиной радовались этому. Но Валя часто говорила мне: «Как мы были глупы, что не родили еще одного ребенка!» Я с ней соглашался. Шестилетняя разница между Леночкой и Петром вполне позволяла нам сделать это, и Валя очень себя укоряла, что этого не произошло.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЕТО 1955 ГОДА. МЫ СТРОИМ!

1

- Что нам стоит дом построить? – кинул клич Геннадий Козлов и улыбнулся. Когда он улыбался, его маленький нос сжимался и становился еще меньше, а белые зубы без единого изъяна обнажались и мелко вздрагивали. Мы только что окончили школу и были под впечатлением выпускного вечера, на котором сказали школе, одноклассникам и учителям: «Прощайте, дорогие!» Другая жизнь ждала нас. Взрослая жизнь, давно нами предвкушаемая, долгожданная. Я, Валентин и Гена собирались поступить в ирригационный институт. Валентин очень переживал, что на выпускной вечер не пришла Ада: он пригласил ее и так надеялся! А Мила пришла, и я танцевал с ней и проводил домой; я был, как на белом облаке.

- Что нам стоит дом построить? – повторил клич друга грустный Валентин. Уже два дня он не улыбался, и мы знали, на ком зациклены его мысли.

- Какой дом? – спросил я, переводя разговор в практическое русло. – Кому это мы пообещали построить дом? Мы разве умеем? Нас просили?

- Сосед-каменщик сказал мне: бери своих гавриков, и идем к нам в подсобники! Он будет платить нам по 25 рублей в день. – Гена повторял то, что было сказано ему.

- А где это? – спросил Валентин.

- Я сходил, посмотрел. Это по пятому трамваю, но не там, где психушка (трамвай № 5 проходил мимо городской психиатрической лечебницы, и в городе над этим маршрутом весело подтрунивали, упоминая про психушку и трамвай № 5 где надо и где не надо, словно этот трамвай только и делал, что пополнял психушку своими пассажирами). Полчаса ходьбы, за Зеленым базарчиком. Складские помещения «Уззоветснаба». Подвал и один этаж. Будем копать землю и подносить каменщикам кирпич и раствор. Заодно поучимся класть кирпич, это пригодится! – Гена был горд, что нашел работу и заработок, хотя мы его об этом не просили. Я видел, что он испытывает подъем необыкновенный.

- А вступительные экзамены? – сказал я. Золотая медаль избавляла меня от этого испытания, а моим друзьям следовало о них подумать. Но это я считал, что им следовало подумать об экзаменах, а сами они так не считали. Что-что, а в своих силах они были уверены. Они и правда были крепкими парнями. Валентин уже был близок к первому разряду по боксу, а Гена выжимал стальную болванку больше, чем Валентин. В аттестатах у них тоже были одни пятерки и четверки. Так в чем же сомневаться, если все на свете хорошо?

- Ерунда, прорвемся! – заявили они в один голос. Им хотелось и поработать, набраться новых впечатлений, и заработать, чтобы ходить в кино и покупать мороженое за свои деньги. Особенно этого хотелось Геннадию. Мать и старики, дед с бабушкой, очень напрягались, стараясь, чтобы он, сын погибшего фронтовика, был сыт, одет и обут, а ему уже было девятнадцать лет, и пора, пора было начать самому беспокоиться о своем благополучии.

- Мне так намозолили глаза эти учебники! – еще сказал Гена.

- А мне осточертели прямо! – поддакнул Валентин. – Да я подышать буду, а перед глазами будет гореть формула, что синус альфа в квадрате и косинус альфа в квадрате равняются единице. На фига нужна мне эта формула? Но ее вбили в нас на всю оставшуюся жизнь, вмуровали прямо. Хоть месяц, да отдохнем от учебы, мускулы свои потренируем! Идет?

Что ж, отдохнем, так отдохнем. Нет возражений. «И когда приступаем?» – спросил я.

- Завтра в половине восьмого я захожу за вами. Форма одежды рабочая. Надеваем все старое, рубашки и брюки. Такое, что не жалко будет потом выбросить. А там раздеваемся до трусов – и вперед! – сказал Гена. Мне понравилось его воодушевление.

- Жалко, что Михаил уже не поведет нас в горы, - сказал я.

- Горы у нас уже были, а стройки не было, - сказал Гена. – Черт возьми, я хочу заработать! Имею я такое право, или у меня его нет? Я куплю матери платье, и сестре – платье, а деду – рубашку. И всегда в парке буду покупать мороженое.

- А бабушке Марии Ивановне? – встрял Валентин. Гена задумался, останется ли что-либо от месячного заработка на подарок бабке. Обходить ее вниманием было никак нельзя. Уж лучше было оставить деда без рубашки, он поймет и простит. Женщины и в пожилом возрасте такие обидчивые, а бабка старается для него, как никто. Нет, сначала он присмотрит подарок бабушке, а потом всем остальным.

Дома я сказал, что мы хотим немного поработать. Восторга это не вызвало. Отец тоже предположил, что у моих друзей могут возникнуть осложнения. На приемных экзаменах так легко оступиться! «Если бы ты знал, сколько работы у тебя впереди!» – сказала мать, и я понял, что за ее плечами горы работы, любимой и нелюбимой, полезной и пустой, никчемной. Мать считала, что я хорошо выложился в десятом классе и заслужил

такого отдыха, какого захочу. Но уговоры мою позицию не изменили, и тогда отец сказал, имея в виду нашу троицу: «Что ж, походите, потренируйте свои ручки! Намозольте их! Когда мне было двадцать, еще перед рабфаком, я строил плотинку в Крыму. Грузил в тачку глину, вез на плотинку, разгружал, утрамбовывал деревянной трамбовкой, а затем повторял все снова и снова. Знаешь, сколько мне за это платили? Девяносто рублей в месяц. И знаешь, что на эти деньги я мог себе позволить? Почти то же, что сегодня на свою зарплату заведующего кафедрой. Хозяйка, у которой я жил, за комнату и стол брала с меня пятнадцать рублей. И кормила, как на убой. Подавала утром сковороду яичницы. Я не съедал столько и оставшиеся яйца помечал химическим карандашом, крестиком, чтобы на обед она мне их не подавала. Позже началась коллективизация и индустриализация, новую экономическую политику партия свернула, частника еще раз объявили врагом советского строя и антиобщественным элементом, и работникам уже столько не платили».

Я подсчитал, сколько заработаю подсобником. Как раз столько и ушло бы за комнату и стол. А у отца четверть века назад еще и приработок оставался, очень даже весомый.

Вечером мы отправились в парк и встретили Милу. Посидели в кафе, поели мороженого. Подошли к танцплощадке, но внутрь вошли, когда до закрытия оставалось минут двадцать и вход становился свободный. Людмила нацелилась поступать в педагогический институт. Она светилась, так ей было вольготно после школы. Экзамены – это лотерея и трепка нервов, счастливых билетов всегда мало. Она потанцевала по разу с каждым из нас, и тут оркестр заиграл туш. До свидания, значит, мальчики и девочки, на халюву у нас долго не танцуют!

Мы проводили Милу втроем, и это было совсем не так интересно, как если бы я провожал ее один. Миле наша затея поработать на какой-то задрипанной строчке не пришлась по душе. Блажь это, и ничего путного. Хотя, как посмотреть: мы уже взрослые люди, и нам надо самоутвердиться. Она же будет зубрить историю и русскую литературу, у нее огрехи, и у нее мандраж. От нее работа никуда не убежит, дома тоже хватает, чем заняться. Дома на ней догляд за младшими братом и сестрой, а это совсем не мало.

Я спал во дворе, в его дальнем углу, за домом. Выносил раскладушку в этот тихий закуток. Я делал это заранее и, приходя из парка поздновато, не заходил в дом, не беспокоил тетю Сашу: постель уже ждала меня. Заснул я не сразу, ведь впереди была свобода. Я чувствовал, как жалко расставаться со школой, с людьми, к которым привык и многих из которых успел полюбить. Правда, с двумя самыми близкими соучениками, Геннадием Козловым и Валентином Хадиковым, я не разлучался, мы поступали в один институт и на один факультет. Но были и те, кого я больше не увижу. Я вспомнил, как привыкал к школе, и как полюбил ее, и как она стала вторым моим домом, а теперь я вырос из этого дома, как вырастают из старой одежды, и покидал его навсегда. Конечно, то новое, что я встречу завтра и что станет содержанием моей завтрашней жизни, будет полноценной компенсацией за все, оставленное позади. Но все равно было грустно, ведь я прощался со всем тем, что полюбил.

У меня давно была мечта стать писателем. Придя однажды, она меня уже не покидала. Но отец очень внятно разъяснил мне, что профессия инженера-гидротехника, которую я приобрету – не препятствие, но подспорье этой мечте, и если она не исполнится (а было много причин, по которым она могла не исполниться), у меня будет специальность, нужная людям, и я не останусь у разбитого корыта и смогу достойно содержать семью. Я уже вел дневник, – исполнял зарок, данный себе в селе Теткино прошлым летом, а все остальное, что сочинил, в один прекрасный день собрал воедино и сжег – вот здесь, за домом, где сейчас стоит моя раскладушка. Поддался наитию и сжег. Полтора десятка тетрадей сжег. Потому что все, написанное мною, посчитал плохим или очень плохим. И это при том, что мои сочинения Ирина Александровна оценивала высоко и часто зачитывала классу. Пока я не знал, каким образом осуществлю свою мечту. Не лучше ли было подать заявление на факультет журналистики в наш университет? Но это сразу разлучило бы меня с Геной и Валентином.

Потом мысль моя перекинулась на Милу, но не задержалась на ней, а растворилась в пространстве. А потом как-то сразу наступило утро, и громко зачирикали воробы.

- Георгий Константинович Жуков, в простонародье Жуков Второй, - отрекомендовался нам бригадир. Он был высок и крепок, а стрижен коротко, как призывник. Его полные губы казались заимствованными у негра. Щеки его, розовые и выпуклые, могли бы внушить, что перед нами большой ребенок. Но одну из них пересекал шрам, грубо нанесенный острым предметом; шрам внушал нам уважение. Жуков слегка шепелявил. Угадывалось, что в подростковые годы он верховодил в своем дворе и на своей улице. В армии он уже отслужил, но армейскую гимнастерку донашивал с шиком: привык. – Пишите заявления о приеме на работу. Лопаты ждут вас. О, ручки у вас белые! Придется выдать рукавицы. Потеряете – вычту из зарплаты. Начнете с копки траншеи под фундамент. Я вам все размечу и покажу!

Траншею он выделил нам каждому по отдельности, чтобы сразу увидеть, кто на что горазд. Хотя и так было видно, что Валентин и Гена покрепче меня.

- Ширина – полметра, глубина – полтора! Землю бросать за внешнюю бровку, с внутренней стороны мы поставим леса. Ну, приступили, гаврики!

Я, все же, для начала огляделся. Фундамент для половины домика, комнат так на пять-шесть, уже был готов, и двое каменщиков вместе с бригадиром клали торцевую стеночку, оставив в ней один проем для двери и два – для окон. Стена была толщиной в полтора кирпича, ее внешняя часть расшивалась (и на этой простой операции ее отделка заканчивалась). Перекрытие над подвалом было возведено железобетонное, монолитное, добротное. Но и с таким перекрытием этот подвал не годился стать бомбоубежищем.

Когда я подошел к своей траншее, Гена и Валентин уже всю орудовали лопатами. Грунт легко поддавался. «Ты, как тебя...» - обратился ко мне Жуков Второй. – Ты правильно сделал, что огляделся. Всегда так поступай. Всегда уясняй себе общую задачу, хотя твоя часть от нее – всего две строчки, и точка. Тогда то, что ты делаешь, будет лучше укладываться в общую канву». Он улыбнулся и взмахнул правой рукой так, словно собирался опустить все пальцы разом на тугие гитарные струны. Я встал, чтобы выбрасывать грунт слева от себя, и вогнал лопату в землю ровно на штык. Отбросил грунт и снова вогнал лопату в землю. Раз и квас, раз и квас! Простая это была операция. Даже, можно сказать, предельно простая. Грунт был не твердый, лопата входила в него на полный штык от несильного нажатия ногой.

После десятого броска я вытер со лба первые капли пота, после двадцатого – сбавил темп. День впереди был долгий-долгий. Гена тоже сбавил темп, а Валентин старался, как в своей секции бокса. Слово боксерская груша висела перед ним, или кожаный мешок с опилками. Трах-тах-тах-тарарах! Ладно, на часок его хватит, а там и он сбавит темп. Он тоже не железный. Соревноваться ему предстоит с Генкой, а Гена едва ли позволит себя обойти. Он уже выработал размеренность. Я попробовал приноровиться к его темпу: он бросает лопату грунта, и я, он – и я. Но мне снова стало тяжело. По мне было, когда на каждые шесть его выброшенных лопат я отвечал пятью. Так что работать в едином ритме у нас не получалось.

Плохо, что над нами солнце. Оно поднималось все выше и выжимало из нас пот не хуже, чем лопата. Я начал уставать, и тут Жуков Второй объявил: «Эй, молодняк! Ишь, увлеклись, зеленые! Перекур!»

Мы присели в тени. Гена и Валентин тоже жадно ловили воздух широко раскрытыми ртами. «Не шустрите так, быстро выдохнетесь!» - предостерег бригадир. Ведерко с водой сразу опустело, и мы наполнили его снова. Подошли и два каменщика, они сначала закурили. Одного из них, высокого, худого, веснушчатого и несуразного, Жора назвал Бакланом, наверное, за красный нос выдающегося размера. Второго, плечистого и ликом напоминающего колобок, он звал Пухленьким. Я подумал, что скоро и мы получим свои клички, разве что месяца для этого окажется мало.

- Что, пацаны, посвящение в рабочий класс состоялось? – спросил нас Баклан. – Вообще, такое событие достойно того, чтобы его обмыли всей честной компанией. Вы, чуя, заявите сейчас, что не пьете, что вы спортсмены и так далее, но это не мешает вам выказать нам, старшим и многоопытным вашим товарищам, все ваше почтение-уважение. А какое оно, почтение-уважение, водочкой не обмытое? Никакое, нет его без водочки. Так что соображайте!

- Пусть ребята это обмозгуют, пока им головки солнышком не напекло, - согласился Пухленький.

- Что, уже вцепились мертвой хваткой? – обратился к каменщикам Жуков Второй. – Дайте хлопцам пообвыкнуться. А вы, мальцы, водочки им пока ни-ни. Вот кружка пива вечером позволит снять усталость. Вы что, одной ногой уже в институте?

И потек житейский разговор, быстро сокращающий дистанцию до состояния полного доверия. Баклан сообщил, что они пашут вместе уже третий год, бригадиром премного довольны, он и себя не забывает, и о ребятах своих помнит, в обиду не дает. А дело у всех у них не хитрое – копай глубже, кидай дальше, клади камень на камень и кирпич на кирпич в светлое здание социализма – хе-хе! – и получай за это в клюв свою скромную денежку. «Иосифа Виссарионовича на тебя, срамника, нет! – сказал Баклану Жуков Второй. – Он бы быстро погасил в тебе иронию по поводу светлого здания социализма. Он бы быстро заставил тебя постичь, что светлое здание социализма достойно уважения, как ничто другое!».

- Он бы – да, - охотно согласился Баклан – Поэтому я без него, как без каменной стены! Теперь я правильно сказал или нет?

- Хочешь, я вякну, где надо, что Баклан – тип, морально неустойчивый и лицом повернутый не в ту сторону? - встрял Пухленький. – Я капну, я могу!

- Не сомневаюсь, но надо ли? – сказал Жуков Второй. – Не будем обижать нашего рыженького, его и так Бог обидел, вон как грубо обтесал. Можно сказать, на половине дела остановился, а додокончить им начатое никому не поручил.

- Но с Баклана поллитра, - сказал Пухленький. – За мое молчание. Потому что вот так надо говорить: «Камень на камень, кирпич на кирпич – так завещал нам Владимир Ильич!»

- Фигушку вам, а не поллитра! – сказал Баклан.

Я понял, что скучно нам здесь не будет. И вот мы снова копаем. Нажим ногой, рывок руками, а потом снова и снова. Копаю и бросаю через левое плечо, копаю и бросаю. Кубик, или кубический метр я уже, наверное, выбросил. А не больше? Вот так делается любое дело, нужное людям. С напряжением, с потом. И хорошо, если с охотой, с улыбкой, без душевного равнодушия. Кто-то строит, кто-то плавит сталь, кто-то собирает автомобили, кто-то учит и лечит. Все распределено между людьми, и потому все при деле. А если кто-то словчил и уклонился,

его работу выполняют другие. Чертыгаются, но выполняют, а «того парня» за которого выкладываются, костерят, на чем свет стоит. Всеми нецензурными словами награждают «того парня», какие только есть на белом свете.

Да, за халтуру и брак одних расплачиваются другие. Так что работать полагается на совесть. А кто возражает? Я копаю, а мысль моя витает где-то далеко. Если делаешь что-то простое, думать можно о чем угодно. В простых операциях человек ведет себя, как машина, как автомат. Копнул и бросил, копнул и бросил. Нажал ножкой, бросил ручками – всему телу нагрузка. Отупеть можно, но человек не тупеет. Работы, которая требует напряжения мускулов, но не интеллекта, очень много. Работы, которая требует напряжения ума, поменьше. Напрягать ум должны те, кто руководит, и кто придумывает что-то новое, и кто учит. Если я не прав, пусть Баклан поправит меня!

Ого! Я опять взмок, как цуцик. Лопата – прекрасная потовыжималка, не хуже горной тропы и футбольного поля. Далеко ли еще до перекура? Я посмотрел на своих приятелей. Они тоже шевелились уже не в прежнем темпе и лоснились от пота, энтузиазм первого часа себя исчерпал. Еще перекурили, на этот раз подольше. Обсохли, и опять за бровку траншеи полетела сухая земля. Тяжесть прилипла к рукам, мускулы деревенели. Я заглубился в землю по грудь. Одно радовало – от земли шла прохлада. «Вскипяти-ка чайничек!» – раздалось надо мной. Я поднял голову – Жуков Второй уже удалялся. Быстро он определил, что от меня меньше прока, чем от моих друзей.

Я нашел очаг, поднял с земли закопченный чайник, наполнил водой, насобирав дровишек, и заструилось в очаге желтое пламя. Приближалось время обеда. Есть не хотелось, хотелось пить. Пить хотелось все время. Чай бригада заваривала прямо в большом чайнике, маленького фарфорового, для заварки, не было. Баклан и Пухленький, которые по очереди ночевали на стройке, охраняли материалы, не позаботились о собственном комфорте – не обзавелись заварным чайничком. Значит, вечерами более на пиво налегали.

Обедали просто – спустились в подвал, в его сумрачную прохладу, поставили на середине ящик, постелили на него газету, выложили принесенную из дома снедь, сели и перекусили. Зато крепкий черный чай пили со вкусом, стирая ладонью со лба пот, как при хорошем трудовом напряжении.

- Кроватку бы здесь замастырить! – сказал Баклан.

- Кроватку на одного, или двухспальную? – спросил Пухленький и одарил Баклана взглядом, в котором содержался ответ на заданный вопрос.

- Девочки только к тебе бегают, меня они не жалуют, считают, что говорящая кукла моего производства будет такая же рябая и длинноносая, как я, - сказал Баклан без следа обиды и на разборчивых девочек, и на своего удачливого визави. – Так что двухспальное ложе – твоя забота, я на него даже не лягу.

- Про кроватку не знаю, а нары давайте сотворим, нам тут пахать и пахать, - согласился бригадир. – Молодняк пусть этим займется. А то лопатка, если ею махать целый день, кого угодно доведет до белого каления.

Увидел, что мы выложились, и дал нам другое задание, полегче. На то он и бригадир. После траншеи работа в прохладе показалась нам праздником. «Рама, настил, ножки!» – объяснил нам конструкцию нар Жуков Второй. И мы все сделали в соответствии с его указаниями. Сначала сколотили раму, затем приладили к ней доски настила и уже в завершение всего поставили это нехитрое сооружение на прочные ножки. Нары получились широкие необыкновенно, на них можно было лечь втроем, что мы и сделали. Полежали, пока не надоело. Спустился бригадир, дал работе оценку: «Ладно, сойдет!» Остаток дня мы подносили кирпич на строительные леса. Жуков Второй показал нам, как замешивать раствор.

- Три ведра песка, ведро цемента, вода – аккуратно, маленькими порциями, до получения вязкой, но не жидкой консистенции. Разъясняю принцип приготовления раствора: поры между песчинками заполняет цемент, который в соединении с водой обретает твердость камня. Разъясняю принцип приготовления бетонной смеси: поры между гравием или щебнем заполняет песок, поры между песком – цемент. Избыток воды вреден и там, и тут. Бетонная смесь любит, чтобы ее хорошо уплотнили. Плотный бетон – это морозостойкий бетон, это прочный бетон. Это бетон, соответствующий всем строительным нормам и правилам. Неплотный бетон – это разгильдяйство, он при первом же морозе рассыпется на свои составные части. Уяснили? Или так утомились, что все пролетает мимо ушей? Эх, молодняк, мне бы ваши годы и ваши заботы!

- Для первого дня многовато впечатлений, - честно признался Геннадий.

Вечерний баллон пива, а может быть, и два, Жуков Второй, Баклан и Пухленький выцедили без нас. Мы поплелись домой, выжатые под завязку. Какой парк, какое кино! Какая Людочка Ванина? Я долго, до озноба, простоял под холодным душем, вяло поужинал, невпопад ответил на вопросы родителей и сразу после десяти вынес во двор раскладушку. Все клетки тела ныли и протестовали, над ними днем было совершено насилие. А ведь кто-то выполнял точно такую же работу изо дня в день, из года в год, и не жаловался, не падал духом, никого не обвинял в жалкой своей доле. И кое-кому, наверное, такая жизнь даже нравилась, ведь во всем или почти во всем была полная определенность, и день грядущий не нес с собой никаких загадок.

Заснул я не сразу. Вспоминал минувший день, такой колоритный. Бригадир мне понравился, и понравился Баклан, длинный, рыжий, несуразный, горластый. А Пухленький мне совсем не понравился, он был откровенно себе на уме. Эта тройка нашла друг друга и держалась вместе. Что их сблизило? Дружба? Взаимная выгода? То и другое, взятое вместе? С этими мыслями я заснул.

А на другой день все повторилось. С утра, по холодку, часа три мы копали траншеи, пока не соединили их и не зачистили. «Вылизывать незачем, это не фасад! – сказал Жуков Второй. – Сейчас перекурим, и будете нам подсоблять». Баклан и Пухленький после вчерашнего пива были не в настроении. И Баклан подначивал дружков уже по привычке, не по велению сердца. Он поязвил насчет одной пассии Пухленького, потом насчет той, которая ее сменила. Он находил у них изъяны в количестве очень большом. Но Пухленький взбрыкнул: «Баклан, мы не на профсоюзном собрании! Давай не будем мазать грязью и клеймить нехорошими названиями тех, кто уже не с нами! Мальчишки могут подумать, что в моих правилах менять девочек каждую неделю. А я так хочу стать однолюбом и семьянином! Ты, Бакланчик, кстати, не однолюб? А то совет дал бы, как и что. Ты ведь большой дока по части дачи полезных советов, они из тебя так и выпирают!»

- Я тоже хочу быть однолюбом, - сказал Валентин. – Кто научит?

- Георгий Константинович у нас большой однолюб, - сказал Баклан. – Он шесть дней в неделю однолюб, кроме субботы. Дома он говорит, что в субботу припозднится, будет принимать материалы. И принимает их до утра. Только мозоль свою трудовую, которую он натирает за субботний вечер, он никому не показывает, старается, чтобы она отдохнула. Так, друг Жора?

- Завидуй, завидуй, это не возбраняется, - сказал бригадир. – Завидуй, но не злись. А лучше радуйся, когда везет мне, а я буду радоваться, когда везет тебе. И что у нас в итоге? Василий Иванович, который Чапаев, долго смотрел на платежную ведомость, а потом говорит своему начфину: «Кто такой этот Итого, который получает больше всех? Почему не знаю? А позвать его сюда, под мои светлые очи!»

Мы прыснули. Анекдотов про Василия Ивановича и Петьку теперь было столько, что их хватило бы на книгу. Раствор мы замешивали по очереди. Команды следовали из трех уст: «Кирпич! Раствор! Почему стоим?» Рывок, и ведро с раствором возносится на подмости. Туда же подается кирпич. Стена растет, как на дрожжах. Иногда каменщик требует подать ему половину кирпича, реже – три четверти. Если таковых нет в наличии, и поиск затягивается, каменщик берется за молоток и отбивает от целого кирпича, сколько нужно. Вот половинка или трехчеточка готова! Я черпаю сведения, которые могут и пригодиться. Толщина шва между рядами – от сантиметра до полутора, а больше – это перебор. В одном кубическом метре кладки – четыреста кирпичей! Каждый рядок следует класть строго по шнуру, а вертикальность угла или дверного проема выверять по отвесу. Отход от вертикали или толстый шов – верный признак непрофессионализма.

Геннадий подает материалы бригадирю, а я – Баклану. Под его правую руку, на которой тоже запечатлены веснушки. Он берет кирпич и кладет не глядя, а получается ровно. Видит, какая часть кирпича выпирает, и стучит по выступу кельмой. Над дверными и оконными проемами мы оставляем место для перемычки. Перекрытие будет железобетонное. Оно же одновременно и сейсмический пояс (наш район подвержен сильным землетрясениям). Все на виду, запомнить и перенять недолго.

Подавать не так утомительно, как копать. И замешивать раствор совсем не трудно. Трудности начались, когда мы израсходовали ближний кирпич и подступили к дальним штабелям. Гена и Валентин вооружились носилками и клали на них по тридцать штук, так что ручки прогибались. А я носил руками, по шесть штук. Они принесут один раз, а я – два. И все равно у них получалось на брата по пятнадцать штук, а у меня только двенадцать. Они и тут обставляли меня. Интересная подробность: Баклан не служил в армии по причине плоскостопия (работать оно ему не мешало), а Пухленький отмазался за взятку. Мать его подсуетилась, нашла ходы к начальнику военкомата. Эти пикантные детали нам выложил Баклан на очередном перекуре, за что получил выговор от Жукова Второго:

- Ну, ты, солнышко мое долговязое! Ротик свой прикрывай время от времени! Помни, что есть вещи, которые оглашению не подлежат. Пустишь молву, она пойдет гулять по свету и достигнет тех ушей, которым положено знать все. И припухнет наш Пухленький за милую душу! От твоего, Баклан, недержания речи припухнет! И матушке его еще перепадет!

- Я что, я маленький! – оправдывался Баклан. – Я только в своем сплоченном коллективе, я не на стороне! Я больше не буду!

- Никшни, хватит пустословить, - жестко осадил его бригадир.

Пухленький тоже недружелюбно покосился на Баклана, и тот умолк, затаив обиду. Баллон пива после работы распит не был, Баклана оставили за сторожа. Чтобы осознал свою вину: ишь, птаха беззаботная, щебечет и щебечет без всякого удержу! А о чем щебечет, не думает совершенно. А была очередь Пухленького караулить объект. Таким образом, он получал компенсацию за ущерб, нанесенный его репутации. А я – хотел ли бы я пойти служить в армию? Нет, в казарму и на плац, чеканить шаг, я не рвался. Но и ловчить, отмазываться не стал бы. Призвали бы – и пошел, как все. И побегал бы с полной выкладкой, и поползал на учениях, в карауле постоял. Минувшая война ставила в моих глазах боевую выучку очень высоко. Мы не отступили бы к Москве и Волге, будь войска обучены, как надо, и как надо вооружены. Когда под Москву прибыли хорошо подготовленные дальневосточные дивизии, они показали немцам, где раки зимуют.

На другой день мы клали бетон. Вшестером. Установили над траншеями опалубочные щиты, – фундамент должен возвышаться над землей на полметра, и стали вручную готовить бетонную смесь. Подтащили к траншее тяжелый стальной лист, навалили на него гравий, песок и цемент в нужной пропорции, слегка полили водой – и давай перемешивать! Да не штыковыми лопатами, а совковыми, со скошенными краями. Трое с одной стороны листа, трое – с другой. Лопатки движутся навстречу друг другу – дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь!

Три минуты, и замес готов. Консистенция средняя, не жидкая и не густая. Замесили – кидаем в траншею. И густо приправляем бульжником, его из поймы Чирчика завезли несколько машин. Бульжником же выстлано дно траншеи. Вот где мы попотели! Это так же тяжело, как копать землю. Ну, спустили мы первый замес вниз, на самое дно траншеи, а там его и не видно. Еще раз замесили – опять не видно. Третий замес, спущенный вниз, Жуков Второй потыкал трамбовкой, уплотняя, а мы немного передохнули. Ни Баклан, ни Пухленький не обладали высокой физической стойкостью, и на их фоне Валентин и Гена смотрелись куда лучше. Наверное, обрести такую стойкость к физическим нагрузкам мешало им постоянное потребление пива и напитков более крепких.

Еще замес, еще и еще. Часть траншеи, примыкающая к старому фундаменту, заполнена наполовину. Ага, есть продвижение! Мы напрягаемся опять и опять. Вливаем в себя третье ведро воды, но штурм упрямой траншеи продолжаем. И вот в одном месте достигнута нужная отметка.

- Не переборщить! – кричит бригадир. – Получим пузо, оно фундамент не украсит!

- А кого украсило бы пузо? – невинно так поинтересовался Баклан.

- Твою молодую жену, если ты соизволишь жениться.

- У кого есть сестра, познакомьте! – попросил Баклан. Он не паясничал. Мы переглянулись. У каждого из нас были сестры, но вот знакомить ли их в Бакланом или повременить? Пожалуй, лучше было повременить. Под ерничанье и гогот сотворили еще несколько замесов и, обессиленные вконец, спустились в подвал на обеденный перерыв. На чай налегали больше, чем на еду. Ощущение было такое, что черенок лопаты продолжал оставаться в ладонях. Их саднило, и даже ложку не хотелось поднимать и подносить ко рту. Но прохлада подвала сначала нейтрализовала усталость, затем сняла ее. Тогда мы и принялись за еду. Пообедав, плашмя попадали на нары и полчаса не шевелились. Затем под клич «Кончай ночевать!» выползли на белый свет, и каторга повторилась. Замес, еще замес, еще и еще! Лист железа смещаем влево, и следует новая порция замесов. Три метра фундамента готовы полностью, и еще метров семь готовы наполовину. Не высовывать языки! Попили, и вперед! Еще немного, и враг дрогнет! Какой там враг, на черта он нам сдался? Без врага плохо, поэтому у каждого уважающего себя человека и у каждого уважающего себя общества должен быть враг. Победа над врагом приносит чувство глубокого удовлетворения.

Готовую часть фундамента обильно полили, чтобы не сохла быстро. Жуков Второй не упускал из вида ни одной мелочи, которая потом могла бы отрицательно сказаться на качестве работ. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь! – звенели лопаты, перемешивавшие гравий, песок и цемент в однородную смесь. Вниз бетонная смесь падала со вкусом – на бетон, уложенный ранее и еще не отвердевший. На нее, как на постель, ложился бульжник. И что мы получили в результате? Фундамент удлинился еще на полтора метра.

1У

Еще три дня такого аврала, и мы выдали на-гора тридцать погонных метров готового фундамента. Сняли опалубочные щиты с той части, которая схватилась: ни сучка, ни задоринки. Ровная глянцевая поверхность без каверн и разных там заусениц. Вот что такое равномерная трамбовка бетонной смеси. «Умеем!» – заключил бригадир. Но кончился бульжник, и Жуков Второй послал нас за ним на реку Чирчик. Ура, Чирчик! Ташкент прислонился к этой реке, правому притоку Сырдарьи, своей восточной окраиной, и пил из нее, и орошал ею свои сады и парки. В каникулы мы каждое лето ходили на Чирчик купаться, и эти походы всегда превращались в маленький праздник. Два часа туда, четыре часа там, на вересковом берегу, на прокаленном солнышком песочке, два часа обратно, - чем не полный рабочий день? Хорошо, кто понимает!

Паводок по реке проходил в конце мая и начале июня. Тогда по руслу катилась большая коричневая вода, холодная и быстрая. Но и при большой холодной воде мы переплывали реку, саднили коленки о бульжник, выстилавший дно, выбирались на левый берег и загорали на теплом сухом песке. Потом все повторялось в обратном порядке. Жуков Второй закрепил за нами два грузовика. Пока один мы загружали, второй находился в пути или стоял под разгрузкой. Бульжника в пойме реки было не сосчитать сколько, но его приходилось выковыривать и подносить к машине. Загрузка занимала полчаса, потом мы купались. Рядом не было ни души, и трусы мы не мочили. Мы снимали их, клали на бережок и, нагие, входили в воду. Паводок проскочил недели две назад, вода резко спала и в протоках была теплая и чистая. Самая лучшая вода для тех, кто пришел купаться и загорать вдаль от шума городского. Ибо в июле пляж на Комсомольском озере – это лежбище котиков, тело к телу. Нет, Комсомольское озеро мы не жаловали – за перенаселение и потуги выглядеть цивилизованно. Дикая природа влекла нас куда сильнее.

Мы славно поплавали, загрузили очередную машину и еще поплавали. Вернулся первый грузовик, и его водитель подкатился к нам с яркой улыбкой и сказал: «Ребятки, могу сделать левый рейс, на этот камушек есть спрос. За погрузку каждому отваливаю по десятке. Бригадир у задержку объясню проколом камеры и заменой колеса. Договорились? Давайте, голуби!»

Мы переглянулись. Я не почувствовал соблазна, и Валентин его не почувствовал, и Гена – самый старший из нас и самый нуждающийся.

- Бригадир нам такого поручения не давал! – за всех ответил Гена.

- Какие вы правильные, аж смотреть на вас противно! Что ж, придется самому покорячиться! – сказал водитель и погасил улыбку. Не понравился он нам, но это не означало, что его поменяют на другого. Мы загрузили его, и он разгрузился на нашей площадке, а в следующую ходку загрузил машину сам, продал камень, кому обещал, и, довольный, приехал с часовым опозданием.

- Что случилось? – спросили мы.

- Прокол, ребята! – ответил он спокойно. – Боже мой, какие вы еще зеленые!

Вместе десяти ходок на нашу площадку два грузовика сделали девять ходок, только и всего. В пылу работы Жуков Второй даже не заметил маленького сбоя. Зато мы накупались досыта. Это был первый день, когда мы получили от работы истинное удовольствие. И второе удовольствие мы получили от того, что не поддались соблазну. Десять рублей сами шли в руки к каждому из нас, но мы их не взяли. В пересчете на мороженое это целых четыреста граммов! Бригадир об этом эпизоде мы не рассказали. Но мы насчитали только семь куч сгруженного бульжника, значит, две машины ушли налево с согласия Жукова Второго. Мы доложили ему о загрузке девяти машин, и он сказал: «Отлично, мальчики!» Он ничего не сказал о том, что два раза машины разгрузились не у нас. И мне вспомнились слова Баклана о том, что Жуков Второй умеет блюсти как общий, так и свой интерес. Наверное, в таком его поведении не было ничего противоестественного.

По дороге домой мы поговорили на эту тему. Бригада наша, значит, где могла, подрабатывала сбытом налево строительных материалов. И бульжник так густо летел в фундамент, скорее всего, для экономии цемента, а сэкономленный цемент уходил индивидуальным застройщикам, ведь в магазине его не купишь. Об этом Гена слышал краем уха все от того же Баклана, и вправду страдающего недержанием речи. Мы вторично дружно согласились, что нам этого не надо, и оставили щекотливую тему. Но одного из нас, как мне показалось, посетило сомнение. Оно посетило Геннадия. Далеко не каждый день в его кармане лежали десять рублей. Он бы ничего не украл, говорил он себе, он бы заработал эти деньги, нагружая камень, который бы ушел налево. Кажется, мы вступали в эпоху соблазнов, каких у нас еще не было.

Потом нам выпала работа и вовсе удивительная. Бригадир отправил нас на кирпичный завод с задачей грузить, грузить и грузить. Ибо тамошние грузчики зашивались, и простои машин конторе обходились дорого. На заводе мы увидели три кольцевые печи. В двух велся обжиг, а из третьей кирпич выгружали. В неостывшую еще печь рабочий-узбек с лицом цвета дубовой коры вкатывал тачку, грузил в нее сто кирпичей, плотненько очень грузил, и, мокрый-мокрый, словно выкупанный, выкатывал тачку на свежий воздух. Тачка валилась на бок, и грузчик делал над собой усилие, чтобы не рухнуть на землю подле своей тачки. Рядом с печью уже было жарко. А каково было в самой печи?

- Твоя попробуй, попробуй грузить одна тачка! – сказал рабочий Геннадию. – И твоя попробуй! – обратился он к Валентину и ко мне. – Тут, думаешь, жарко? Вот там жарко!

Я поднял пустую тачку и повел ее, толкая за две ручки, в черный зев печи. Посмотрю, как и что. Я сразу попал в пустыню Сахару. Темно было в печи, и я замедлил шаг. Ага, стена, надо поворачивать налево. Вот и келья, где ведется обжиг. Отсюда брал кирпич рабочий-узбек. Продолжим! Узбек укладывал кирпич в четыре ряда, по двадцать пять штук. Я беру два кирпича сверху и кладу в тачку, начинаю заполнять первый ряд. Жара на пределе, какой в состоянии вытерпеть человек. Почему печи не дают остыть? Чтобы меньше простаивала? Да, такая печь будет остывать долго. Беру еще кирпичи, и на тачку. Беру и кладу, беру и кладу. Взмок, с меня закапало. Пошел второй ряд. С меня закапало чаще. Лютая жара! Так сколько тачек в день загружает узбек? Двадцать? Тридцать? Сорок? Мне же предложено загрузить одну, всего одну. И я еще сомневаюсь, смогу ли? Кровь из носу, а смогу!

Третий ряд уложен, и видно уже лучше. Стены пышат жаром, и от сводов пышет жаром. И сам кирпич, который здесь обожгли, горячий-горячий. Все пышет жаром, и жар фокусируется на мне. Я тихо испаряюсь. С меня капает, как с мокрой тряпки. Четвертый ряд. Скорее, скорее, а то рухну. Еще два кирпича, и еще два, последние. Ручки – на себя! Лишь бы тачка ни за что не зацепилась, не опрокинулась. Ага, на полу лежит толстая доска, и тачка не должна с нее соскользнуть. По досточке – вперед, вперед и вперед, к свету! Как это я раньше не увидел доски? Какой яркий свет на выходе! Ослепнуть можно. Ура, я на свежем воздухе!

- Ты как из парной выскочил! – говорит Валентин. – Давай, теперь я попробую!

Мы с Геноей кидаем кирпич в машину, а Валентин входит в черный зев печи, толкая перед собой тачку. Зев пышет зноем, а там, куда он ведет, самое пекло. И возвращается Валентин не скоро. Его шатает, он мокрый, словно только что вышел из воды.

- Я бы бросил тачку к чертовой бабушке, если бы не твой пример! – говорит он. – Как тебя угораздило вытерпеть такую жару?

Правильно, уступить мне он постеснялся. Он ведь боксер-перворазрядник и все такое. Третьим испытание проходит Гена. Оно очень ему не нравится, он тоже чуть не задохнулся и говорит, что не стал бы работать здесь ни за какие деньги. Правильно, нам и не надо. Грузчик-узбек благодарно нам улыбается, мы позволили ему передохнуть, выпить пару пиал зеленого чая. Никто из нас не решается загрузить еще одну тачку. Попробовали, и хватит.

- И сколько тебе за эту каторгу платят? – спросил грузчика Валентин.

- Восемьсот рублей!

- И сколько лет ты сможешь здесь выдержать?

- Скоро моя уйдет, тут долго никто не работает, - честно признался узбек. Вид у него был изможденный-изможденный. За день мы нагрузили всего четыре машины. Один из водителей попросил продать ему машину кирпича, но мы и ему сказали, что он обратился не по адресу.

- С больших строек, наверное, несут много, - сказал Геннадий. – Конечно, в магазинах строительных материалов одна мелочь – ни кирпича, ни цемента, ни пиленого леса! И как прикажете поступать индивидуальному застройщику? Вот он и рыщет, как ищейка, в поисках того, что ему нужно.

Мы с Валентином пожалы плечами. Мы ни разу не отоваривались в магазинах строительных материалов, мы обходили их стороной, ведь наши родители не были индивидуальными застройщиками.

У

Мы вдвоем – это так неожиданно. Было воскресенье, и опускался вечер, когда я подходил к дому Людмилы. Калитка отворилась, и она явила мне себя во всей своей неотразимости. Удивление застыло на ее лице – как, наверное, и на моем. Куда это она наострила лыжи? Еще пара минут, и мы бы разминулись. «Ты ко мне? И без друзей-приятелей? Вот сюрприз, вы так неразлучны!» – сказала она с иронией. Что ж, я не заходил к ней целую неделю, и она вправе обижаться. Усталость валила меня с ног. А ее уязвляло мое невнимание.

- Извини и прости, стройка так изматывает! – сказал я. – Руки и ноги к вечеру как чужие. Я едва доползаю до дома.

- Ты вспомни, вспомни, кто был против? Я была против! Еще неизвестно, как ваша стройка аукнется на судьбе Валькиных и Генкиных вступительных экзаменов. Не пришлось бы им потом локоточки кусать и провожать грустным взглядом поезд, который ушел!

- Ну, зачем такие мрачные прогнозы? У ребят достаточно прочные знания, - сказал я. – Мы куда идем? В кино, или просто так?

- Сначала ты угощаешь меня мороженым. Пломбиром! – объявила она. – С первой зарплатой тебя можно поздравить, или рано?

- С нами рассчитаются за все сразу. – Я шел рядом, но боялся взять ее под руку. А она очень хотела, чтобы я вел себя смелее. Чтобы я дерзал, как и положено парню, рядом с которым идет такое милое создание.

- Насчет прочных знаний я что-то сильно сомневаюсь, - вдруг сказала Мила. – Когда три – четыре человека претендуют на одно место и кого-то подстраховывают настырные родители, суют экзаменаторам подарочки, то прочные знания могут оказаться на втором плане. Я вот все подряд повторяю по второму разу, но все равно сомневаюсь. Как ты думаешь, я не провалюсь? Ужасно не хочется потерять год.

- Твои шансы велики, - сказал я. – Ты взяла характеристику из райкома комсомола?

- Завтра же возьму, она может помочь. А мои шансы... Едва ли я намного сильнее тех, кто будет поступать со мной вместе.

- Здравомыслишь, - согласился я.

- Нахал! Мог бы поднять мою планку повыше, я в прошлом году пионервожатой в лагере работала, пока ты по России разъезжал, и платили мне столько, сколько сейчас платят тебе. И еще кормили. И сейчас я не выматываюсь, как ты на своей стройке, я готовлюсь!

Мы прошли мимо нашей школы, и я опять испытал сожаление при виде нашего футбольного поля, и нашего парка, и беговой дорожки, которая опоясывала двор, и самого учебного корпуса – мне показалось, что в больших его окнах поселилась печаль.

- Теперь все это уже не мое, - сказал я с неизбежной грустью.

- Жалеешь? - встрепелась Мила. – А мне не жалко, я вся в завтрашнем дне. Институт – это уже другая жизнь, это взлет. Я сплю и вижу себя в институте.

- А мне хорошо было в школе, - сказал я. – В ней мои корни, и я не хочу, чтобы они усохли и отпали. У нас был очень дружный класс.

- А теперь все разбежались, и каждый за себя. У тебя гарантия, что ты поступишь, куда хочешь, а я мандражирую, - призналась Мила. Она шла на полшага впереди меня, и я смотрел на нее справа и сбоку. Кудри и веснушки, и вздернутый носик – все такое ладное, точеное. Неужели можно протянуть руку и обнять ее? Она и не

подозревает, о чем я подумал. Мы поднялись на железнодорожную насыпь, и я еще раз посмотрел на школу, прикрытую деревьями - какая она пригожая, родная. Десять лет – и вот она, взрослость, еще вчера такая долгожданная. Но это еще не самостоятельность, она придет только после института. Людмила, что ждет нас в эти пять лет? Останемся ли мы вместе, или наши пути разветвятся?

Зачем вообще я думаю об этом? Пошел поезд на юг, и мимо нас долго мелькали красные товарные вагоны, обдавая грохотом и порывами горячего воздуха. От насыпи до парка – сто шагов. У входа в парк мы встретили Альберта Аталиева и его девушку Стасю. Мы церемонно приветствовали друг друга. Альберт давно дружил со Стасей, и в том, как нежно он ее опекал (а она принимала это, как должное), чувствовались повадки собственника. Он тоже уже мог считать себя студентом.

- Это и есть ваш самый-самый? – спросила Людмила, когда мы отошли.
- Да, - ответил я. – Ему удастся все, за что он ни возьмется.
- Я бы хотела, чтобы и тебе удавалось все, за что ты берешься, - сказала Мила.
- Спасибо, но это едва ли возможно.
- Да, то, что легко дается одному, у другого валится из рук, - охотно согласилась девушка.

Я купил билеты в кино, а потом мы вошли в кафе-мороженое. Я все время чувствовал себя скованно, несвободно. Чего я боялся? Какой-нибудь случайной неловкости? Неожиданно брошенного слова, для Милы обидного? Ба, еще двое наших, Третьяков с неразлучной папиросой в ладони и Шура Колокольцев! Мила их помнила, и мы постояли, поговорили о каких-то очень простых вещах, которые память никогда не держит долго. Шурик не знал, ехать ли ему со сборной командой борцов «Локомотива» на соревнования в Волгоград – он мог не успеть вернуться к началу приемных экзаменов, и мы посоветовали ему не ехать, подстраховаться. С другой стороны, именитых спортсменов институты привечали и обхаживали, чтобы было кем похвастать и блеснуть на соревнованиях. До кино еще оставалось время, и мы прошли по дальним парковым аллеям. Все скамейки были заняты, и быстро смеркалось.

- Интересно, как долго еще ваша троица будет неразлучна? – вдруг спросила Мила. Определенно, она завидовала мне, что у меня такие друзья.

- Долго-долго, - сказал я. Мне этого очень хотелось, и я не думал, что когда-нибудь время распорядится по-другому.

- Так не бывает! Стоит одному из вас жениться, и все разладится, - сказала Мила с присущей ей уверенностью, которая всегда граничила с безапелляционностью. Прозвенел звонок, и мы вошли в летний кинотеатр. Фильм был про Тарзана, полный приключений. Тарзан был за старшего в тропическом лесу, и все животные ему подчинялись. Мила переживала, вскакивала, всплескивала руками. Эмоции лились через край. Как будто в кино показывают настоящую жизнь! В кино все придумывают, как и в книгах. В кино даже больше придумывают, чем в книгах. Кино питает очень богатое воображение.

После фильма неспешно двинулись домой, к танцплощадке подходить не стали, там вот-вот должны были заиграть финальный туш. И он раздался за нашими спинами, задорный, настраивающий на улыбку. «Пошли домой через Тезиковку!» – попросила Мила. И мы повернули на улицу Железнодорожную. Трамвай прозвенел – сильно он разогнался, аж вагоны раскачивались.

- Тебе кто ближе, Гена или Валентин? – спросила Мила.

- Не знаю, я себе такого вопроса не задавал. Они такие разные! Валентин сама непосредственность, он очень эмоционален. У него что на уме, то и на языке. В нем много от родниковой чистоты. А Геннадий – это вещь в себе. Он сначала все взвесит, потом уже совершит поступок. Сначала все сопоставит, как для него лучше. Он гибче, маневреннее.

- Больше себе на уме? – уточнила Мила.

- Наверное. Жизнь не раз подсказывала ему, что если из чего-то можно извлечь собственную выгоду, то лучше от этого не отказываться. Но я не помню, чтобы он хотя бы раз поступил в ущерб нам, нашей дружбе. То есть, когда мы троим, он от своей выгоды никогда не отталкивается, а старается, чтобы всем нам хорошо было. Вот почему я не могу сказать тебе, кто из них лучше.

- Вы и правда очень разные, - согласилась Мила. – Вы такие разные, что я часто спрашиваю себя, почему вы вообще вместе. Кто у вас старший?

- У нас равносторонний треугольник, - сказал я, премного этим обстоятельством довольный.

- Трудно в это поверить. Там, где двое, один непременно стоит ступенькой выше. В ирригационный институт ребята идут по твоей наводке?

- Ну, по моей. Точнее, по совету моего отца. В Узбекистане вода всему голова.

- Только не агитируй меня, это лишнее. Ты тихоня, но Валентин и Гена часто поступают так, как хочешь ты. Как ты это объяснишь?

- Это потому, что я хочу, как лучше для всех, - сказал я.

- Это потому, что ты дальновиднее.

- А работать мы пошли по наводке Гены.

- Вы еще пожалеете об этой работе! Не ты, а Валя и Гена. Строить хотя бы интересно?

- Еще как! Каждый день на площадке что-то меняется, или стены приращиваются, или фундамент. На этой неделе мы будем заливать перекрытие! Еще немного, и каждый из нас сможет сдать экзамены на бетонщика и каменщика.

- Ты говоришь так, словно будешь заниматься этим всю жизнь. А ведь нет! Кто говорил мне, что мечтает стать писателем?

- Между мечтой и ее осуществлением лежит дистанция огромного размера, - сказал я.

- Но ты хоть стараешься сократить ее? У тебя есть уже, что можно почитать?

Я пожал плечами; я совсем немного делал для того, чтобы эта мечта осуществилась. Мы вышли к Тезиковке, где трамвай поворачивал к транспортному институту. Тезиковка (я имел в виду базар) спала, и в маленьких домиках на тихих улочках редко где горел свет.

- Не боишься, что нас здесь обидят? – спросила Мила.

- Не боюсь, это мой родной город, - сказал я. У ее калитки я вдруг осмелел и погладил ее волосы. «Какие нежности при нашей бедности!» – заметила она и не поспешила открыть калитку. Ее глаза светились ярко и призывно. Мы простояли, не замечая времени, и я похвалил себя, что заранее вынес во двор раскладушку. О чем мы говорили? Мы щебетали, как птахи свободные. И я мог ее поцеловать, наши лица часто сближались. Ну, почему я этого не сделал? Нам было хорошо, и мы – каждый по-разному – уже предвкушали все то, что должно было прийти к нам позже.

Мы простились далеко за полночь. Да, но куда направлялась Мила, когда мы встретились? Я позабыл спросить ее об этом, но меня укололо то, что у нее могли быть какие-то свои вечерние дела, в которые меня посвящать не полагалось.

У1

Мы резали стальные стержни арматуры на отрезки нужной длины, а Жуков Второй и Пухленький вязали из них арматурные каркасы. Стержни мы резали ручными пилами-ножовками, и это был не быстрый процесс. Пилы тупились, и их надо было постоянно заменять. В каркас стержни соединялись не с помощью сварки, сварочного аппарата у бригады не было, а с помощью обыкновенной железной проволоки. Жуков Второй положил моток такой проволоки в костер, отжег ее за полчаса, и она стала пластичной, как медная.

Перемычки над дверными и оконными проемами мы залили бетонной смесью быстро, а над перекрытием пришлось помучиться. Опалубку мы устанавливали с великой тщательностью, словно настилали пол в гостиной у привередливого заказчика. Бригадир следил, чтобы не оставалось ни малейших зазоров. «Чтобы и комар носа не подсунул!» – шепелявил он и все контролировал самолично.

Сначала мы попотели над арматурным каркасом для перекрытия. На него пошла прорва стальных стержней и проволоки. Потом мы опять махали руками до седьмого пота, замешивая бетонную смесь снова и снова. Наверх мы подавали ее в ведрах. Зато когда сняли опалубку, нам открылся ровный потолок без единой щербатинки. Жуков Второй долго разглядывал серый свод, еще немного сырой, и, кажется, сам себя хвалил, сам себя поглаживал по головке: ай, Жора, молодец! Баклан встал под его правую руку, напрашиваясь на комплимент. И Пухленький крутился рядом. «Что хорошо – то всегда хорошо!» – еще изрек Жуков Второй.

- Если бы за это премировали! – мечтательно произнес Баклан и приклеил к своему топорному лицу лукавую улыбку мальчика, выпрашивающего у мамы конфетку, а еще лучше шоколадку. – Где оно, высокое руководство, почему не принимает готовую работу, не радуется вместе с нами? Кто нам, по такому случаю, поднесет сто грамм? Разве что мы сами?

- Высокое руководство тоже радуется, но в своем узком кругу, - напомнил Пухленький.

- А устроим-ка мы себе сабантуй! – вдруг решил бригадир. – Или мы не заслужили праздника? Плов или кавардак – выбирай, пацаны!

- Раз у нас такая демократия, я за шашлык, - сказал Пухленький. – Мангал в наличии имеется, вот он, в углу стоит, обижается, что давно его не используем. Древесный уголек спроворим в одну минуту.

- Добро! На базар иду я, а со мной... - Он обвел нас смеющимися глазами и отобрал двоих помощников; я в их число не вошел. Мы сложили опалубочные доски в штабель, еще немного посуетились, готовя фронт работ на завтра, и тут явились ребята, ходившие на близкий Зеленый базар. Мясо, лучок, овощи, фрукты – всего этого они принесли в избытке. Жуков Второй баранину выбрал молодую, в самый раз для шашлыка, и густо обложил мясо луком, чтобы вобрало в себя острый и духовитый его сок. Мы стали готовить древесный уголь, а Баклан уселся строгать салаты, отдельно помидорно-луковый, а отдельно помидорно-огуречный. Еще с базара были принесены три баллона пива. Насчет этого ребята долго соображали, чему отдать предпочтение, пиву или водочке, и, учтя жару сорокаградусную, решили, что бороться с нею сорокаградусной же водкой – это себе дороже. Это какое должно быть железное здоровье, чтобы выдержать водку – в приличном, конечно, количестве! А пиво – оно и в жару первый сорт, и кайф от него, и экономия валюты (на водку денег ушло бы в два раза больше).

Как только древесный уголек подоспел, началось главное колдовство – сотворение шашлыка. Жуков Второй все делал сам, позволяя нам пока вкушать только от шашлычного аромата. Шампуры он сделал из гибких ивовых прутьев. Спустились в подвал, в прохладу и полумрак. Бригадир велел Баклану сбежать за гитарой. «Почему я пойду, почему не Пухленький?» – спросил Баклан и обиженно оттопырил губы. Классически он обижался, как на сцене.

- Ты быстрее обернешься, у тебя ножки длинные, - объяснил свой выбор бригадир. Баклан не отсутствовал долго; одна нога здесь, другая – там. Мне показалось, что аромат шашлыка преследовал его по пятам. Когда он вернулся, шашлык уже лежал ароматной горкой на покоробленном лягане. «Сели! – скомандовал Жуков Второй и поставил гитару за своей спиной. – Разобрались с тарой! Мальцам наливаю до середины тары, совершеннолетним – вровень с краями. Нет возражений? Ну, ребята, с пионерским приветом, и за наше с вами светлое будущее! Вздрогнули, пацаны!»

И первая порция шашлыка вместе с первым баллоном пива была сметена могучим ураганом. Шашлык таял во рту, а пенное пиво, в меру горьковатое, подготавливало его таяние.

- Что я могу сказать о нашем молодняке? – повел неспешный разговор Жуков Второй. – Ребята на уровне, что могут, на том и стоят, за чужие спинки не прячутся, от хомута не увиливают, на соблазны со стороны расторопных водителей не реагируют. Готовые граждане для великой страны! Так что спасибо тем людям, которые их поставили на ножки.

- Им и дальше так держать, или что-то надо подкорректировать? – встрял Пухленький.

- Ты беги и клади на мангал вторую порцию, а я проконтролирую! – сказал бригадир. – Шампуры не забудь, здесь они. Давай, шевелись! Мангалу там и задавай свои некорректные вопросы!

- А почему не Баклан?

- Каждому свое! – изрек Жуков Второй и расслабился. Он сел вольготно, раскинув руки и расставив колени; стало видно, что простенькие его брючата поползли по шву в двух местах. – Вы, конечно, побежите в институт, - продолжил бригадир, - это нормально. Это не возбраняется. Но я хочу вот на что обратить ваше внимание. Вы были на подхвате, на самой нижней ступеньке рабочей иерархии. И вы показали себя с лучшей стороны. Вы не дешевили. Даже шоферня жаловалась: смотри, к этим мальчишкам с левым рублем не подъедешь! На вас можно положиться. И если кто-то из вас оступится, двери института перед ним закроются, пусть возвращается сюда. Милости прошу! Обучу и кирпич класть, и бетон. Зарабатывать будете побольше инженера, это я гарантирую. Рабочей косточкой станете, рабочая косточка в нашей стране всему голова.

- Ну, ты даешь! – удивился Баклан. – Ты у нас лектор готовый, нам остается только уши развесить и внимать. Сам веришь в то, что говоришь, или только нас обязуешь верить?

- Не встрейвай! – попросил бригадир. – Им сейчас кажется, что инженер – это ого-го что такое, а получают дипломы, сядут на оклады в 900 рублей, оглядятся, и от их «ого-го» не останется даже шепота невнятного. Бригадир на стройке, ребята, это и есть «ого-го». Это 2000 рублей в месяц и нормальный быт. Усекаете? Ну, пойду, помогу Пухленькому, чтобы он ничего не напортачил. Главное – никогда не перекладывайте ответственность со своих плеч на чужие! Когда дело в одних руках, тогда все взаимодействует, как в часовом механизме или в автомобиле марки ЗИС. А разброд и шатание нам ни к чему, сразу новый батько Махно объявится, и иже с ним.

- Разброд и шатание нам ни к чему! – повторил за ним Баклан, но иронии в свои слова не вложил.

Я уже тихо плыл по течению, но не в ту сторону, куда указывал Жуков Второй. Я плыл к неведомому берегу, а море оставалось теплым, лазурным, сиятельным. У Валентина глаза округлились и осоловели. Гена широко улыбался. Через пять минут перед нами благоухала вторая порция шашлыка. Вновь тара наполнилась пенным напитком, уже без дискриминации молодняка. Ели теперь неспешно, и шашлык показался вкуснее. Налегли на салаты – и вскоре ощутили сытость. Пиво тоже пили теперь неспешно, без прежней удали. С чувством, толком и расстановкой мы теперь пили пиво. «Бригадир, ты созрел для обладания гитарой?» – поинтересовался Пухленький.

- Положим, я созрел для обладания не только гитарой. Дожарим, что в остатке, и я созрею окончательно и бесповоротно, - пообещал Жуков Второй. Мяса осталось на полпорции, по одной палочке на брата. И осталась еще одна палочка, седьмая. На пальцах ее разыгрывать не стали, презентовали бригадиру, как самому большому из присутствующих. Все были сыты и премного собою довольны. Мрак подвала посветлел, воздух стал розовым, приятным-приятным.

- Инструмент за спиной! – напомнил Пухленький. И Жуков Второй не глядя протянул назад левую руку, водрузил гитару на колени, пошевелил струны большими своими пальцами, вслушался в их колыхание, где надо, подкрутил, подтянул, заглянул каждому из нас в глаза, словно испрашивал благословения, и зашепелявил:

Все васильки, васильки!

Много бывает их в поле.

Помню, у самой реки

Я собирал их для Оли.

Оля цветочек сорвет,
Низко головку наклонит:
«Папа, смотри, василек
В речке плывет и не тонет!»

Он пел негромко, с придыханием, отчетливо и очень душевно выговаривая каждое слово, и я оторопел, так проникновенно у него получалось. Меня обычно не трогали ни художественная самодеятельность, ни расторопные эстрадные мальчики и девочки, умело раскручивающие себя, умело набивающие себе цену. Их старание, показное или нет, но всегда немного театральное, было не для меня. Оно меня не пронимало. А Жуков Второй сразу проник в мое сердце и утвердился в нем. Я смотрел на него округлившимися от изумления глазами. Давно при мне не пели так проникновенно. Он был очень на высоте. Он был на такой высоте, на которую поднимались немногие. Но вот знал ли он это? Если и знал, нисколько не кичился.

Не делая перерыва, он начал следующую песню:

Тихо горы спят, Южный Крест занял полнеба.
Спустились с гор в долину облака.
Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был –
В таинственной стране Мадагаскар.

Про Мадагаскар при мне еще не пели. Певец и гитара слились воедино, подчиняясь повелительному ритму песни. Гитара оттеняла и проясняла каждое слово. Пухлые щеки певца стали еще круглее, он буквально смаковал каждое слово. Он выдавал каждое слово в пространство, словно отрывал его от своей души. Словно с любимой вещью расставался.

Может статься, ты смерть найдешь за океаном.
Но все же ты от смерти не беги!
Осторожней, друг, даль подернулась туманом.
Сними с плеча свой верный карабин!

Чья это песня? Французов-колонизаторов, искателей приключений, которые не слишком ценили свои жизни и ни во что не ставили жизни чужие? Наверное, их. А Жуков Второй без паузы вновь всей пятерней ударил по гитарным струнам и переключился на другую тему:

В Кейптаунском порту,
В работе и поту
«Жаннета» поправляла такелаж.
Но прежде чем уйти
В далекие пути,
На берег был отпущен экипаж.
Идут-сугулятся по темным улицам,
И брюки новые сверкают – клеш!

«Однако! - произнес Гена, его подбородок стал слегка отвисать. – Однако!» – повторил он и потер ладонью ладонь, выражая высшую ступень одобрения. Валентин тоже оторопел. При нас еще так не пели. Вдруг певец перекинулся на что-то удивительно знакомое, родное:

Ты еще жива, моя старушка,
Жив и я, привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
И выходишь часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож...

Певец очаровывал, как колдун. И не профессора консерваторские обучили его, а улица, такие же пацаны безалаберные, бесшабашные, как он сам. Затем мы услышали:

Поезд оставил дымок,
В дальние скрылся края.
Лишь промелькнул огонек,
Словно улыбка твоя.
Веришь, не веришь, – словно улыбка твоя!

Песня была про человека, который не знал, что полюбил, а понял это, когда поезд ушел и увез объект его тайных вздыханий, и последний вагон, раскачиваясь, растворился в горячем воздухе. Слов не было, как замечательно он пел.

- Все, утомился я! – вдруг объявил Жуков Второй и отложил гитару. Последовало мгновенное возвращение на круги своя, и все вокруг сразу стало сереньким и пустым. Возвращение на круги своя было обескураживающее обыденным.

- И ты скажешь, что никогда не пел на сцене? – воскликнул Гена.

- Никогда, - ответил бригадир. – Потому что не влекло. Вот моя сцена! – Он обвел руками узкое пространство перед собой. – Только в охоточку, только для своих, только когда у меня ни к кому нет претензий, и к себе – тоже.

- Ты чародей! – объявил Гена. – Ты сам не знаешь, как хорошо поешь! Ты должен петь со сцены, ты не талант, ты – талантище! Я бы ни одного твоего концерта не пропустил!

- Да, я талант, а имею дело с кирпичом и бетоном и с вами, оболтусами, - с улыбкой констатировал Жуков Второй. – Ладно, побежали по домикам, моя Лариса заждалась. Кто сегодня тут ночует? Ты, Пухленький? За пивом не отлучаться, хватит с тебя и чаю. За девочками тоже не отлучаться, сами пожалуют! Смотри, чтобы тут никто из чужих не шастал. Ну, отбой!

Мы еще поработали пять дней. Копали, подносили кирпич и раствор, разгружали машины, ставили опалубку. А однажды до полуночи разгружали машины с кирпичом – их пришло двенадцать, одна за одной. Три раза к нам подкатывались с предложением продать кирпич. Мы не согласились, и нас не поняли. «Вы все в одну кучу валите, никто потом не сосчитает, в куче десять тысяч штук кирпича или двенадцать», - учили нас умразуму бывалые люди. Но мы не поддались на эти уговоры. Мы сложили кирпич в штабеля по тысяче штук в каждом, все на виду. Жуков Второй снова удивился нашей порядочности, и я подумал, что на позднюю разгрузку кирпича он поставил нас специально. Баклан с Пухленьким наверняка спровадили бы налево пару-тройку машин, они государственную собственность не шибко уважали. Но с Жуковым они не поделились бы, ведь он мог их и не понять.

Я уже не уставал, втянулся. А Гена и Валентин легко перли носилки, на которых лежало по сорок кирпичей. Рассчитался бригадир с нами прозаически просто – вечером, в последний день нашей работы. Причитающиеся нам деньги давно лежали у него в кармане. Нам полагалось по 650 рублей. Он накинул еще 50, за ночную разгрузку, и вручил каждому в белые ручки по 700 рублей. То есть, не в белые ручки, а в заскорузлые, огрубевшие от мозолей. В рабочие ручки. Прощального ужина с пивом, шашлыком и красивыми словами почему-то не было, моя надежда еще раз услышать песни под гитару не исполнилась. Это было единственное, о чем я очень пожалел, когда прощался с маленькой строительной площадкой и с ребятами, с которыми мне было удивительно хорошо.

- Если что-то у кого-то с институтом не получится – приму насовсем! – повторил Жуков Второй свое предложение. – С превеликим удовольствием! Ну, прощайте, граждане комсомольцы. Баклан! Пухленький! Пожмите мальчикам лапоники, они того заслужили. Подумать только – ни одного кирпичика не спровадили на сторону! Вот молодцы! Нет, за таким их поведением что-то кроется, мне незнакомое. Я это буду помнить долго-долго, потому что сам я не такой.

Мы простились, и я, к великому своему сожалению, больше ничего не слышал ни о Жукове Втором, ни о Баклане с Пухленьким. Словно мы мгновенно оказались на разных берегах огромного житейского моря. А своими деньгами я распорядился так – что-то купил для дома, для семьи, какие-то общие подарки, и отцу с матерью это понравилось. Остальные деньги разошлись, как разбежались – быстро и незаметно. Зато очень скоро у меня появилась студенческая стипендия, вполне достаточная для покрытия моих не ахти каких больших потребностей вне стен родительского дома.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Собеседование коснулось только математики и физики, и я проскочил его, не споткнувшись об острые вопросы. Вопросы мне задали простые или очень простые. И все, я был свободен до первого сентября. А Валентин получил тройки по математике и физике, Гена – тройку по физике. Валентин набрал шестнадцать баллов, Гена – семнадцать, а проходными были 18 баллов. Этого они никак не ожидали. Трехдневной подготовки на каждый экзамен им не хватило, чтобы освежить в памяти сотни формул и определений. Они выдохлись и имели бледный вид. Они не понимали, что произошло. Они были так уверены в себе, и вдруг эти жалкие, обидные тройки. Стройка подставила им подножку.

Мила не строила ничего, сидела и зубрила, но тоже схлопотала две тройки и осталась за бортом педагогического института. Рекомендация райкома комсомола действия не возымела. Отец принял близко к сердцу неудачу моих товарищей, которых знал хорошо. Он походатайствовал, и их зачислили резервистами – Валентина на мой факультет, а Гену – на землеустроительный. Отец преподавал на этом факультете и за Геной

доглядывал персонально. Первую сессию Гена сдал хорошо, и он добился его зачисления – вместо проштрафившихся ребят, которых было немало. А на нашем факультете из резервистов в студенты не зачислили никого, хотя отсеялось много бездельников и белоручек. Валентин ткнулся на факультет механизации сельского хозяйства, где было посвободнее, но потом ему пришлось снова сдавать вступительные экзамены, и он потерял год. Сначала он очень переживал по поводу этого потерянного года, а потом перестал переживать. Сам виноват, а на себя долго никто не сердится.

Далее все пошло по наезженной колее, я получил диплом инженера-гидротехника, Валентин – инженера-механика, Гена – инженера-землеустроителя. Наши пути разминулись. Это стало особенно заметно, когда мы женились (Мила не стала моей женой, ей приглянулся молодой летчик, и я, как ни странно, никогда не жалел об этом). Мы уже не виделись неделями и месяцами, и тянуло нас друг к другу уже не так сильно. Гена женился последним и стал жить на Чиланзаре, а Валентин после землетрясения 1966 года переехал в Россию, в Подмоскowie, где и работал конструктором до выхода на пенсию. Более четырех лет на одном месте он не задерживался. Он неизменно говорил своему прямому начальнику все то, что о нем думал, а потом писал заявление об уходе. Некоторые его предложения вытягивали на изобретения. Гена же все эти годы проработал в одном месте, в проектном институте «Узгипрозем», специализируясь на проектировании рисовых совхозов Каракалпакии.

После распада Союза новых рисовых совхозов в Каракалпакии уже не строили, и он стал торить дорогу семье в Россию, где людям жилось получше. В России он и погиб, случай трагический, но и симптоматичный. Шалая женщина встретила его, на которой уже и пробы ставить было негде. Она его и погубила. Точнее, ее любовник, человек с уголовным прошлым. Он посчитал третьего лишним и со знанием дела вывел его из любовного треугольника. Мать Гены, Нина Николаевна, оплакивала сына неутешно одиннадцать лет, пока сама не закрыла глаза навеки и не сошла в сырую землю. И Валентин, и Гена вырастили двоих детей каждый, и пока их судьбы складывались вполне благополучно. Удачно судьба складывалась и у троих моих детей. А у двоих она, увы, не заладилась изначально. Не заладилась, и все.

А что дала нам кратковременная работа на маленькой стройке, помимо заработка? Она познакомила нас с азами строительного дела. Мне это помогло, когда я строил новые совхозы в Голодной степи. Эти навыки всем нам потом пригодились, особенно когда мы приводили в порядок свои жилища. Вот, пожалуй, и все. А то, с каким потом давался нам этот опыт, как к вечеру становились ватными и плетью отвисали руки, вскоре позабылось. За это лето я судьбу не благодарил, хотя оно и было очень поучительное. И лето предыдущее, проведенное в России, я вспоминал не часто. Но я очень благодарил судьбу за лето 1953 года, подарившее мне горы. Я всю жизнь не знал лучшего отдыха и лучшего времяпрепровождения, чем горная тропа, горная река и горный лес в обрамлении синих пиков Тянь-Шаня. А ночи под яркими звездами, у живого огонька? Они тоже были бесподобны. Я оставался наедине с Мирозданием, и это были незабываемые часы.

Год 2008.

Отредактировано в 2011 году.